Р2я1р
М30

Эмма
Марченко

Ярославский
писатель

ВОЗРАСТ

Воспоминания и стихи

2013

Р2Яр
М30

Эмма Марченко

№ - 194882 - Я

ВОЗРАСТ

Воспоминания и стихи

Ярославль
ИНДИГО
2013

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
города Ярославля»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М 30

Марченко Э.В.

М 30 Возраст. Воспоминания и стихи. /Серия «Ярославский писатель». – Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 112 с.

«Возраст» — так назвала ярославская поэтесса Эмма Марченко свою новую книгу. В первую, прозаическую часть книги, включены воспоминания Эммы Васильевны. В их основе — фронтовые письма (1942 –1944 гг.) отца поэтессы. Во вторую часть книги вошли её стихи, написанные в последнее время.

В прошлом, 2012 году Эмме Марченко исполнилось 80 лет. В этом возрасте писатели подводят итоги своего творчества, хлопочут об издании многотомников, наивно полагая, что это придаст особую значимость их литературному наследию. Эмма Марченко поступила куда более проницательно и разумно: она включила в свою книгу написанное недавно. И оказалось, что написаны ею замечательные вещи.

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-91722-161-8

© Эмма Марченко, 2013
© ИПК «Индиго». Издательство, 2013

Величают меня Васильевной

Воспоминания многих лет

Глава I

ОТЧАСТИ СЕМЕЙНАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Имена моих родителей – наши, русские. Отца звали Василием, а маму – Анастасией. А вот меня, свою дочку, родители нарекли Эммой – чужим иностранным именем. Причину этого недоразумения можно объяснить, не вдаваясь в подробности. Но такое объяснение было бы слишком поверхностно. Хочется рассказать обо всём обстоятельно и, по возможности, объективно.

Мой отец, Василий Семёнович Марченко, думается, обладал самобытным характером. А судьба ему досталась характерная для его невероятного времени. Многое известно мне из отцовских писем. Не менее – из разговоров с мамой. Мои собственные воспоминания об отце очень коротки и отрывочны, но зато живы и непосредственны.

Вспоминаются деревья и в их тени ручей. Отец переводит через него велосипед, предварительно ссадив меня на землю. Во время езды я, конечно, сидела впереди на раме. Но этого, почему-то, не запомнила. Но как сейчас вижу отца, переводящего велосипед через лесной ручей. Мы направляемся на пионерский костёр, куда приглашён мой отец – героический участник Гражданской войны. Мне не терпится поскорее увидеть костёр и пионеров с их красными галстуками. О них, вероятно, что-то интересное сообщил мне отец, заботившийся о моём правильном воспитании. Однако самого костра и выступления отца перед пионерами

не помню. Должно быть, утомилась в пути и, прибыв на место, уснула – мне и пяти лет не исполнилось.

Хорошо помню бревенчатый дом с лужайкой перед крыльцом и разлетающиеся по ней поленья. Отец колет дрова – у него выходной день. Запомнилась комната, которую мы снимали у хозяев бревенчатого дома. Она большая и светлая, с выскобленными до желтизны полами – мама такая трудолюбивая и домовитая! К её неудовольствию, работа мужа, профессионального партийца, связана с постоянными переездами. Разбирая вещи на новом месте, мама не радовалась, если даже удавалось снять квартиру с крашеными полами: только обживёмся – и снова придётся переезжать! А меня это нисколько не огорчало. Вот, визжа от восторга, ношусь по комнате: отец делает вид, что никак не может поймать меня. И вдруг подхватывает на руки. Мы подходим к фотографиям вождей, развешанным на стене. Дольше всего задерживаемся перед бравым усачом Будённым: когда-то в годы Гражданской войны отец был кавалеристом.

Удивляет, как не надоедало отцу возиться со мной! Вот с какой-то моей подружкой наяриваем по очереди на игрушечной гармошке: я играю – она пляшет, она играет – я пляшу. У дверного косяка – улыбающийся отец.

Невероятно безоблачным представляется моё раннее детство. И трудно объяснить, почему привиделся сон, такой тяжёлый, что я всхлипывала, проснувшись в испуге. А мама трогала мой лоб, беспокоясь, не захворала ли я. Должно быть, что-то из тогдашней действительности, не осознанное мной по малолетству, обернулось необъяснимым сном. Иначе откуда взялся крутой обрыв, с которого столкнули меня и маму?.. Куда делся отец, которого я зову на помощь?.. Под руками ломается засохшая глина – не выбраться... Мой необъяснимый сон, увы, оказался вещим.

***

Отец родился в 1899 году на хуторе с весёлым названием Дудкин. Бескрайняя степь, среди которой затерялся хутор, относилась вон там к Украине, а вон там уже к России, неразделимо соединяя их. Наскучила ли отцу обособленная хуторская жизнь или соблазнил неплохой заработок на стороне – чуть ли не подростком подался он к шахтёрам в близлежащий Александровск-Грушевский, позднее переименованный в город Шахты. И хотя пробыл здесь недолго, без этого его дорогу, может быть, не повернула бы ещё круче Гражданская война. Она вызволила его из угольного забоя и закружила в боях, усадив на серого в яблоках коня.

Не помню, рассказывал ли мне отец о своём коне, а маме – часто и подробно, уж это точно. Из её пересказов я узнала, что была у коня обычная кличка – Мальчик. Зато сам конь отличался необычной разумностью и преданностью хозяину. А хозяин холил своего коня, насколько это было возможно в постоянных боевых походах. В одном из боёв отец был тяжело ранен и верный конь вынес его из гибельной схватки. Отец рухнул на землю под окнами какого-то особняка. Плотные портьеры раздвинулись и прозвучал то ли детский, то ли женский голосок: «Иван Кузьмич, вы только взгляните, какой красавец!» Пожилой врач посмотрел в окно – увидел серого в яблоках коня и тяжелораненого, распростёртого на земле. Тотчас поспешил на помощь.

Прощаясь через месяц с неожиданным пациентом, доктор потрепал его по плечу, довольный, что спас ему жизнь. Однако отец так и не узнал, кому принадлежал белокаменный особняк и за кого был Иван Кузьмич – за белых или за красных.

После возвращения к жизни отец снова оказался в Красной коннице на фронте. Вспоминая об этом времени, он исписал несколько тетрадей. Но его заметки были погублены безвозвратно. Как могло такое произойти – объясню,

когда перейду к событиям, включающим и этот печальный факт.

По окончании Гражданской войны жизнь отца стала лишь относительно спокойной. От него не зависело, в каких краях пребывать, какую предпочесть работу: выполнял задания партии, как тогда говорили. Одно время на Кубани, в городе Кропоткине, заведовал парткабинетом. Он был, по словам мамы, самоучкой, с книгами не расставался. Получил к ним доступ и был за это благодарен Советской власти. А в «призрак коммунизма» верил так горячо, что своей верой увлекал других. Вот строка из его письма: ***«Многие партийцы учились у меня, со многими проделали большую работу»,*** – напоминает он маме о своём пребывании в Кропоткине. Здесь-то отец и познакомился с нею. Нет, не на очередном партийном собрании, а в городском саду. Оказывается, в свободный вечерок всё-таки захаживал он в городской сад. Здесь и увидел мою восемнадцатилетнюю маму. Ещё бы не увидеть её, кареглазую! Рядом с нею, маленькой и хрупкой, отец выглядел высоким, хотя и был среднего роста. Она так очаровала его, что уже при третьей встрече отец предложил ей выйти за него замуж. А ей с чего бы отказываться от чернобрового удальца! Что ж с того, что старше на девять лет, зато какой самостоятельный!

И вот любуюсь я прекрасными лицами моих родителей на старинной семейной фотографии. Все собрались за столом, накрытым для чаепития под деревьями, во дворе. На белой скатерти самовар, увенчанный заварным чайником. Стаканы на блюдцах – крепкий чай просвечивает сквозь тонкое стекло. В вазочках, конечно, вишнёвое и абрикосо-

вое варенье. А пышный калач, разумеется, домашней выпечки... Минута не из будничных. В нарядных платьях – мама и две её старшие сестры, Клавдия и Ольга, третья – Мария, почему-то отсутствует. Мужья маминых сестёр, оба – в косоворотках с вышивкой. А мой отец – в строгой белой рубашке и при галстуке. Как все они молоды! Особенно мама и отец! А вот и суровый старик: волосы седые, а брови чёрные нахмурены. Это мой дед – Иван Павлович Григоров. Рядом с ним пожилая женщина с замкнутым лицом. Это его вторая жена. Моя родная бабушка умерла молодой, оставив сиротами пятерых детей. После её смерти в доме появилась мачеха. Она не била сирот – их суровый отец запретил ей это раз и навсегда. Но и не стала близкой для них. Не привязалась даже к пасынку, которому не было и трёх лет, когда она пришла в семью. А сейчас ему семнадцать. Вот он. Примостился с краю стола: похоже, присел на минуту, чтобы сфотографироваться с родственниками – даже кепку не снял. А мама стоит, положив руку на плечо своего любимого мужа, сидящего за столом рядом с Клавдией, «разливающей чай». Клавдия протянула руку к самоварному крану со стаканом под ним. Жест, видимо, подсказал фотограф для

большей выразительности снимка. Происходило это в 1926 году. В городе Кропоткине, на родине моей мамы, трёх её сестёр и единственного брата Гавриила.

Сфотографировались, должно быть, на прощание. Брат вскоре уехал в Ленинград учиться на инженера-строителя, приобщась перед этим к рабочему классу в слесарных мастерских. Маму с моим отцом ожидало пребывание в самых разных городах и городишках. А две старшие сестры с мужьями и третья, ещё незамужняя, перебрались на постоянное жительство к Чёрному морю, в Феодосию. Причина такого решительного переезда, думаю, была связана не только с желанием поселиться у моря. Но позднее разговоров об этом не велось. Возможно, за давностью лет, а, может быть, не только поэтому. О многом могу лишь догадываться.

***

В Феодосию сначала приехали самая старшая из сестёр Клавдия и её муж Александр Иванович. А вскоре и две другие сестры: Ольга (в замужестве Назарова) с мужем Тихоном Ильичом и Мария, позднее вышедшая замуж за коренного феодосийца, став в замужестве Мухабловой. А вот у тёти Клавы (загадка!) осталась девичья фамилия – Григорова, хотя у её мужа была – Третьяк. Конечно, они были повенчаны в церкви. Но потом оформили развод – при Советской власти это стало возможно. И домик, который купили в Феодосии, был записан на тётю Клаву. Думаю, это было связано с нежеланием дяди Саши афишировать своё не слишком пролетарское прошлое. В Кропоткине он был владельцем доходных домов. И в придачу к ним – помещения местного театрика. Кажется, так. «Буржуй», одним словом. Тётя Клава в шестнадцать лет вышла за него замуж. Он был красавцем-усачом. А старше её на полтора десятка лет. Тётя Клава ревновала его и, должно быть, не без основания, к артисткам,

особенно к заезжим «звёздам». Он же впоследствии вспоминал, что полюбил её за роскошную косу, выросшую по народному присловью: расти коса до пояса, от пояса до пят.

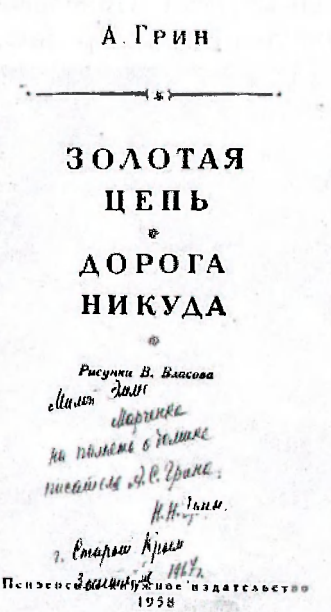
После переезда в Феодосию жизнь дяди Саши и тёти Клавы резко изменилась. Дядя Саша на первых порах работал грузчиком в порту. Потом бригадиром маляров. Актрисы навсегда исчезли из его жизни. Зато девчата-маляры, которых он возглавлял, симпатизировали ему и между собой лукаво называли Шуриком.

Тётя Клава ушла с головой в хлопоты по хозяйству. Завела десяток коз – целое стадо! Рано утром подоив и проводив их на выгон, она торопилась домой, где у калитки уже ожидали любители козьего молока – с бидончиками, кастрюльками, банками. Но через какое-то время запретили держать коз в черте города. И дядя Саша побелил и покрасил козьи закутки. Приспособил для приезжающих в Феодосию курортников. Помню, как тётя Клава на чём свет стоит

честила этих «окаянных бездельников», когда они уходили на пляж, а она, потея, убирала в их «хоромах». Но чтобы она в прежние дни вот так ругала своих розок, милок, белянок – этого что-то не припомню. Она не только заботливо относилась к ним, но любила прямо-таки по-матерински. А они отвечали ей доверчивой привязанностью. Вечером тётя Клава – а иногда и я с нею – отправлялась на городскую окраину встречать с пастбища коз, не забывая захватить торбу с сухариками. И десять баловниц, отделившись от стада, мчались во всю

прыть на её голос, как и другие к своим хозяйкам. Судя по округлым бокам, козы вполне насытились на горном пастбище. Однако быстро-быстро хрупали из горсти сухарики – вкусно ведь!

И всё-таки не в этих шустрых существах заключалось истинное пристрастие тёти Клавы. Что подтвердилось, когда она в старости покинула бренный мир. Обнаружилось, что не только вместительный книжный шкаф, но и полки в кладовке, и ящик под кроватью наполнены книгами. Чего тут только не было! Русская и иностранная реалистическая классика, приключенческая романтика и даже (представьте!) научная фантастика. Тётя Клава была не только собирательницей книг, но прежде всего неравнодушной читательницей. Она читала с таким интересом, воспринимала прочитанное так непосредственно, что была не в силах удержать в себе эмоции. И случалось, кто-то досадовал в ответ на её попытку поделиться прочитанным: да погоди, некогда мне!


А. Грин

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

ДОРОГА НИКУДА

Рисунки В. Власова

Пензенское книжное издательство

1958

Из всего книжного наследства, оставленного тётей Клавой, особенно бережно храню книгу с двумя романами Александра Грина – «Золотая цепь» и «Дорога никуда». Она с автографом самой Нины Николаевны Грин, жены, друга, утешительницы великого романтика. А в последние годы своей жизни она стала хранительницей

домика-музея Грина в Старом Крыму. Свой бесценный автограф Н.Н. Грин подарила мне 3 сентября в 1967 году. В тот день я отправилась в Старый Крым, захватив с собою том из библиотеки моей тётки.

Если рассказывать о моих тётушках по порядку, учитывая их возраст, то после тёти Клавы должна бы следовать тётя Оля, Ольга Ивановна с мужем Тихоном Ильичом.

Судьба, лишив меня и моего братишку нашего заботливого отца, а маму любимого и любящего мужа, всё-таки не дала нам погибнуть. Послала во спасение тётю Олю с дядей Тишей. У них, как, впрочем, и у тёти Клавы с дядей Сашей, не было своих детей. И мы с братишкой стали по сути детьми этих двух добросердечных бессребреников. С ними будет связана не одна страница моих воспоминаний. Поэтому сначала уделю внимание третьей по возрасту маминой сестре, тёте Марусе с её семьёй.

В моём детстве не последнее место занимали мои двоюродные сёстры Валя и Ляля (Валентина с Ольгой), дочки тёти Маруси и дяди Гриши Мухабловых. Помнится, расторопный дядя Гриша то где-то работал снабженцем, то заведовал каким-то складом. А тётя Маруся, окончив медицинское училище, работала фельдшером в больнице.

Жили Мухабловы в длинном, с пристройками, собственном доме. Место, где стоял дом, считалось завидным: так называемая Горка. По отношению к улицам, ведущим сюда, это место не было горкой. Горкой его назвали, видимо, потому, что за ним начинался крутой спуск к набережной и к морю. На горке росла кое-какая травка. Зато на спуске вовсю цвёл дикий шиповник. Прохожие встречались редко. Но раз в году, во время празднования Дня Военно-морского флота, здесь собиралось много народа. Вечером и вообще было не пройти, столько оказывалось желающих полюбоваться фейерверком на набережной и гирляндами огней в заливе – на больших кораблях и разных мелких судёнышках.

На горке, овеянной дуновением с моря, дышалось легко, как в раю. Однако впоследствии всё погубил построенный здесь ресторан «Южный» с его кухонными запахами. Но в дни моего детства ничего этого не было. И если вспоминаются запахи съестного, то лишь в связи с тем, что, приходя к своим двоюродным сёстрам, я нередко заставала их отца, дядю Гришу, готовящим во дворе на мангале какое-то ароматное крымское кушанье. Этот факт позволяет установить хотя бы некоторую последовательность в наплыве моих воспоминаний. Дядя Гриша колдует у мангала в своём дворе – значит, это происходило ещё до Отечественной войны. Уже в начале её большинство построек на Горке было разрушено обстрелами с моря. Дом Мухабловых был и вовсе стёрт с лица земли. Семья стала снимать небольшую квартирку в стороне от Горки.

Я была намного младше своих двоюродных сестёр, особенно – Валентины. Больше общалась с Лялей. А когда они ссорились между собой – уже не помню из-за чего – каждая

старалась переманить меня на свою сторону. Я колебалась в выборе и принимала то одну сторону, то другую. В результате от обеих сестриц получала оценку «предательница», и они мирились между собой.

Позднее Валентина поступила в Москве в институт иностранных языков, на немецкое отделение. И вышла замуж за офицера, слушателя военной академии. А Ляля не спешила с замужеством, и это стоило ей жизни.

Помню, мы с нею, искупавшись в море, обсыхали на камешках. Ляля в купальнике, перешитом из чего-то старого: в послевоенных магазинах не продавалось купальных костюмов. Достать бы ситцу на платье! А я, малолетка, в длинных не по росту трусах. Неказистые наряды. Но запомнились Лялины глаза, зелёные, как морские волны, и темные красивые брови. Ляля очень серьёзно пожаловалась, что её приятель Алик грозится убить её. Как сейчас слышу, сказала: «Не хочу умирать!». Не знаю, только ли мне открылась она. Я не задумалась над её словами и ничего не сообщила взрослым. А вскоре Ляли не стало. Алик был моложе её на год, учился в девятом классе. Он воспылал «первой любовью» к бедняжке Ляле. Узнав, что она уезжает в Симферополь поступать в пединститут и ни о каком замужестве не думает, взбалмошный мальчишка застрелил её и себя. Украл наган у отца, работавшего в милиции.

Хоронили их в один и тот же час и на одном кладбище. Но в разных местах. Любопытствующих собралась толпа. Торопились поглазеть и тут и там. И чего только не наболтали, перевирая случившееся.

Нелепая Лялина гибель потрясает. Но память тасует впечатления прошлого. Вновь представляются солнечный переулок и тенистый дворик тёти Оли с дядей Тишей. С этими близкими родственниками так много связано, что их жизнь, вспоминаясь, сливается с моей. Однако это не я, а тётя Оля, Олечка Григорова, когда-то окончила с золотой медалью гимназию в Кропоткине. Потом дополнительный

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»

№ - 19487

класс, дававший право учительствовать в начальной школе. В Феодосии, как до этого в Кропоткине, наша Ольга Ивановна успешно обучала ребятишек. А дядя Тиша, Тихон Ильич, работал главным бухгалтером в одном из феодосийских санаториев. Слава Богу, не считался «бывшим буржуем», как дядя Саша. Хотя оставался дореволюционным, «старорежимным» специалистом с высшим экономическим образованием. Был, как и значилось в анкетах, беспартийным.

Ну а у мамы с моим отцом-партийцем сложилась, как я уже говорила, прямо-таки кочевая жизнь. Одно время после Кропоткина они пребывали на Волге, в самом Ульяновске. Потом в районных городках тогдашней Центральночернозёмной области. Сначала в Россоши, затем в Богучаре, в котором и выпало мне родиться. Но ещё и ходить не научилась, как пришлось вместе с родителями отправляться в путь: отца снова перебросили на другую работу. А Богучар откликается во мне только своим чарующим названием. О старинных его строениях только догадываюсь: в 1717 году основан. Должно быть, утопал в парках, одетых «в багрец и в золото», словно осенние леса у Пушкина. На газонах представляются астры и хризантемы – не потому ли, что родилась я на исходе бабьего лета: 21 сентября.

Мама всегда дарила мне эти роскошные цветы в день моего рождения, если я была рядом с нею. А когда мы жили в разных городах, присылала поздравительную открытку и сообщала, что поставила на стол вазу с букетом этих цветов.

Мама не только любила цветы, но была вдохновенным цветоводом. Но вряд ли сознавала, что строки её письма – просто стихотворение в прозе: ***«У нас во дворе уже расцвели розы! Чудо – таких ни у кого нет! Одна была поначалу ярко-розовой с особым оттенком – вся аж светилась искорками. А потом превратилась в бледно-розовую, очень нежную. Вторая, когда начала распускаться, была тёмно-кремовой. Потом стала нежно-кремовой. Третьи, огненно-пунцовые, мельче, пучковидные (оригинальные). А ещё расцвели белые розы, необыкновенно красивые... Скоро зацветут белые и оранжевые лилии – уже выпустили стрелки. Правда, оранжевых у меня только один куст... Отцвели тюльпаны, но вот-вот распустятся гвоздики... В этом году цветов у меня больше и они ярче – помогла подкормка. Делала её два раза – результат великолепный... Встаю я рано, когда все спят, и любуюсь цветами...»***. А вставала мама рано не только в пору её прекрасных цветов. В Феодосии она работала в газетно-журнальном киоске. Тётя Оля писала мне в Москву: ***«Похолодало до пяти градусов мороза. Ветер северный, пронизывающий. Мой бедный киоскёрчик мёрзнет. Сейчас мы в кино не ходим, потому что киоскёрчику нужно отогреваться и пораньше ложиться спать. В 5 часов 30 минут она уже на ногах, слушает последние известия и спешит на работу... Скорее бы проходило время – она ушла бы на пенсию! Перестала бы простуживаться каждую зиму»***.

Давно исчез мамин киоск. А прежде стоял на улице Галерейной, выходящей к морю, – открытой всем ветрам. Это было время нашей с братом учёбы: моей – в институте в Москве, его – в университете в Дне-

пропетровске. Стипендия у меня была маленькая, меньше, чем у брата. Тётя Оля с мамой ежемесячно присылали мне некоторую толику денег. Я не возражала, к моему теперешнему запоздалому раскаянию. Могла и в Большом театре бывать – пусть на галёрке! И лакомиться московским мороженым с лотка, не слишком дорогим даже для студентки из общежития. На мой взгляд, жизнь у меня была вполне благополучной, как у большинства тогдашних студентов.

***

Когда я обращаюсь к своему раннему детству, мне представляются родители, озадаченные моими волосёнками, схожими цветом с осенней листвой. В придачу к конопушкам на вздёрнутом носу. Пытаясь найти объяснение такому казусу, отец вспоминал своего деда-пасечника: то ли дед был на удивление рыжим, то ли броские конопушки в представлении отца ассоциировались с пчелиным роем. Нос, конечно, тоже подвёл: правильных черт лица от родителей не унаследовала. В своё оправдание могу лишь сказать, что выдалась кареглазой и чернобровой и в маму, и в отца. Но маму это не утешало. Она расстраивалась, когда выходила со мной на прогулку и соседские ребятишки, завидя меня, дразнились: «Клоун! Клоун!» В общем, с детства пришлось испытать, каково приходится, если хотя бы в чём-то оказываешься не такой, как все. Не хотелось бы, однако, чтобы о моей внешности сложилось не слишком лестное представление. Поэтому добавлю, что спустя много лет, во время моей учёбы в Москве,

рыжие, а точнее золотисто-каштановые волосы вошли в моду. Некоторые из моих однокурсниц интересовались, чем это я так удачно крашусь? Другие гадали: волосы или брови подкрашиваю? Это не задевало меня. Я была тоненькой и стройной, что тоже привлекало внимание. Помню, какой-то прохожий рассмешил, сам того не желая. В уличной толпе обогнал меня и, заглянув в лицо, объяснил, что ему, видите ли, «понравилась фигурка» и захотелось убедиться, что «личико тоже интересное». Мне стало смешно, а он невозмутимо зашагал дальше. Да и что только не вспоминается иногда! Стройности своего сложения, а может, и конопушкам на носу была обязана неожиданному предложению попозировать в художественной студии, от чего наотрез отказалась: сочла непристойным, что ли? И сейчас не стала бы уж слишком предаваться воспоминаниям о своей былой внешности, если бы отец в одном из писем не укорил маму: ***«По-моему, ты судишь предвзято, говоря – «курносая, конопатая, рыжая». Ты думаешь, у меня неодинаковая привязанность к дочке и к сыну? Ничего подобного! Она выросла у меня на руках, а его я даже не видел. А ведь ему скоро пять лет... Но если бы ты знала, как хочется взять его на руки, обнимать, ласкать! Я так устал без всех вас...»***. Вероятно, маме показалось, что отец любит меня больше, чем моего пригожего братишку, кстати, очень похожего на него. И мама высказала это в письме. Отец возражал, но всё-таки заступался за дочку, несправедливо, по его мнению, обиженную. Этого недоразумения никогда бы не возникло, если бы жизнь отца и всей нашей семьи не исковеркала трагедия, хотя не скажу, что по тому времени исключительная.

Был 1937 год. Я смутно припоминаю районный городишко, больше похожий на село, куда в качестве уполномоченного срочно направили отца. Очевидно, дела в районе с точки зрения большевистских установок сверху обстояли отнюдь не блестяще. Судя по рассказам мамы, очередная

перемена деятельности не совпадала с желаниями отца: непосредственно перед этим он заведовал книжным магазином. Он зачитывался художественной литературой – наконец-то дорвался до неё, вечный партиец! И меня, ещё не умевшую читать, пристращал к книгам, читая вслух. Увы, мне не запомнился голос отца. Но запомнилась красочная детская книжка, которую мы с отцом рассматривали. Одна из картинок сохранилась в памяти во всех подробностях: медведь с пчелиным ульем под мышкой, а сверху тёмно-тёмно-синее небо с крупными звёздами. «Каменными», как говорилось в стихотворении Бориса Корнилова, в то время популярного поэта. Повсюду распевалась сложенная на его слова «Песня о встречном» с рефреном:

Страна встаёт со славою
На встречу дня.

В 1938 году Борис Корнилов был репрессирован. Его имя запрещено. Но невозможно было запретить песню, полюбившуюся народу. Её продолжали исполнять с характерной оговоркой: «Слова народные». Когда отец читал мне стихотворение о медведе-сладкоежке, имя Бориса Корнилова было в зените известности. А отец с энтузиазмом заведовал книжным магазином в одной из российских глубинок. И вот пришлось расстаться с полюбившейся работой.

Появление в районе приезжего назначенца отчасти устраивало местные власти: в случае чего, на приезжем можно отыграться. И случай не заставил себя долго ждать.

В разгар уборочной кампании народу на колхозном поле не хватало. А тут на дороге затарахтела телега. В ней кроме бородатого возницы сидела молодуха, свесив загорелые ноги в чунях.

- Куда это вы направились?
- Известно куда... Нынче, чай, базарный день...
- Ну-ка, остановись!

Не собираясь уступать, возница всё-таки придержал лошадь. Стоящий на дороге, а это был мой отец, взял её под уздцы. «Но, но», – натягивал вожжи возница. Лошадь то дёргала телегу, то застывала на месте, не понимая, чего от неё хотят. Осерчав, бородач слез с телеги и пошёл грудью на противника. Схватились два заложника большевистского режима в стране – как и сама народная Советская власть – подневольный колхозник и такой же подневольный уполномоченный. Молодуха, только что безмятежно лузгавшая семечки, принялась вопить. А на колхозном поле забыли о работе и весьма заинтересованно наблюдали из-под ладоней за потасовкой. На свою беду, отец оказался сноровистее.

А спустя несколько дней он был исключён из партии и отдан под суд «за превышение власти».

С тех пор прошли десятки лет. В сущности, вся моя жизнь. Но свидание с отцом накануне суда не заслонили более поздние воспоминания. В памяти навсегда оттиснулась казённая комнатёнка. Отец с руками за спиной. Чуть в стороне от него – охранник, сидящий на стуле за столом. Я подле мамы. Дощатая перегородка отделяет нас от отца. Она ему по грудь, а меня по другую сторону скрывает с головой. Я вытягиваю шею и смотрю, смотрю на отца. Он что-то говорит маме... Обычно резвая, я оцепенела, вцепившись в мамину руку. Навсегда запомнились отцовские глаза с проступившими слезами, удержанными усилием воли... Любящий взгляд, обращённый на меня... Перед бесконечной разлукой отец не смог обнять меня и маму. А вместе с нею и моего ещё не родившегося братишку: мама ждала второго ребёнка... Протяни отец руки ко мне – я бросилась бы к нему. Слишком явно пришлось бы рвать по живому.

Суд устроили показательный: убеждайтесь, товарищи колхозники, какие у нас справедливые порядки! Мама тоже получила возможность убедиться в этом. Она присутствовала на суде. Меня оставила дома. Совсем одну. Соседка, пряча глаза, отказалась присмотреть за мной.

Приговорили отца к пяти годам лишения свободы и отправили на лесоповал в Сибирь. А бородач, устроивший драку, предусмотрительно исчез из района по окончании суда. Не знаю, удалось ли беспаспортному строптивцу спастись от немезиды 37-го года. Хорошо, если – да.

Отвергнутые всеми, мы с мамой немедля уехали к родственникам в Феодосию. Наверное, так посоветовал отец в минуты нашего последнего свидания.

Глава II

ФЕОДОСИЙСКОЕ ДЕТСТВО

Представить страшно, какие скитания ожидали бы нас, если бы нашу семью не приютили тётя Оля с дядей Тишей. Жили они в небольшом, побеленном снаружи и внутри глинобитном доме, нахлобучившем изжелта-красную черепичную крышу. Построенный прежними хозяевами – татарами, у которых был куплен, дом, словно щурясь, смотрел на мир узкими оконцами. Их заменили широкими, с частым переплётом итальянскими окнами. Летом в них проникало столько солнца, что приходилось сдвигать легонькие планочные ставни. А двор, точнее, внутренний дворик с тремя или четырьмя деревьями, с развесистой шелковицей в том числе, оставался, как и прежде, недоступным для посторонних глаз.

Наш глинобитный домик стоял вплотную с домом старинной каменной кладки. В нём жила говорливая болгарская семья, которая общалась между собой на своём родном языке. А с окружающим миром, например с нами, на общепонятном русском. В те достопамятные времена в Феодосии преспокойно уживались люди самых разных национальностей: русские, украинцы, крымские татары, караимы, евреи, армяне... Помню, до войны в одном из больших по тому времени зданий находилась татарская школа-интернат. Преподавание в ней велось на понятном для ребятишек-

татар их родном языке. Наряду с обучением русскому. Памятное здание местные жители ещё долго, после выселения татар из Крыма, называли татарской школой.

Некоторые из воспоминаний о Феодосии моего детства похожи на сказочное кино. Наш переулок выходил на одну из магистральных улиц. Вот появляется на ней ослик с тележкой. Для защиты от солнца на ослике надето что-то вроде шляпки или панамки – из прорезей торчат ослиные уши. Отнюдь не глупые, а наоборот – настороженные, чуткие. В тележке – раздельно в корзинах – абрикосы и алыча, в другом случае – баклажаны и перец. На передке тележки – хозяин, полный невозмутимого достоинства. Направляется он на городской базар с плодами своего труда. Он откуда-то с окрестных предгорий, среди которых разбросаны татарские деревушки. В одной из них мне удалось побывать. Но уже после 22-го июня 1941 года, в самом начале войны. А пока от неё отделяло два или три года мирного времени.

***

О том, что у меня теперь есть маленький братишка, сообщила мне тётя Оля, навещавшая маму в роддоме. Произошло это зимой, 5 января в 1938 году. Зима запомнилась пелёнками, сушившимися над печкой. А братишка – уже начавшим вставать на ножки. Это незабываемо: в летнем дворе под деревьями вместительная плетеная корзина, предназначенная для фруктов и овощей. А в ней сидит на одеяльце Лёка, мой братишка. Я наклоняюсь над ним – он встает, ухватясь за край корзины, и смотрит на меня пытливыми

глазками. Такой славный малыш! «Вылитый Василь», – вздыхают взрослые. Пройдёт время, и выросший брат спросит у меня об очень важном: каким был отец? Я ведь не только старшая сестра, но ещё и та, кому посчастливилось видеть нашего отца, общаться с ним. А когда, в какой день и час в сознание братишки впервые запало волнующее слово «отец», не знаю. Не тогда ли, когда мама моя, измученная постоянными невзгодами, предавалась вслух мечтам о возвращении нашего отца. А «неисправимая оптимистка» тётя Оля вторила ей «Вот вернётся Василь...». Долгие годы ждала мама своего Василя...

***

В жизни, даже обделённой радостями, дети остаются детьми. Довольствуются малым. Помню подаренную мне на день рождения коробку с красочными кубиками. Из них складывались картинки, изображающие разных диковинных зверей: слона, носорога, жирафа... До чего же было занимательно! А медведь появился иным образом. От прежнего, ещё кропоткинского времени, осталось дяди-Тишино зимнее пальто. С тёмно-коричневым меховым воротником и такой же подкладкой. Причём подкладку, и без того меховую, местами украшали пушистые хвостики. Пальто даже зимой больше всего висело в шифоньере – слишком тёплое для Крыма. А летом, чтобы не завелась моль, его развешивали во дворе, вывернув наружу мехом. Голова моя было полна озорством. Увидев, с какой опаской разглядывает братишка пальто, я поддразнила его: «Сейчас тебя медведь... ам-ам...». Доверчивый малыш приготовился расплакаться со страху. Я сжалилась: «Не бойся!.. Смотри – сколько хвостиков!.. Давай один оторвём...» И, недолго думая, оторвала и протянула братишке: «Возьми!». Он помотал головой и спрятал руки за спину. А я весь день боялась,

что крохотную дырочку на месте оторванного хвостика заметит кто-нибудь из взрослых. К моему облегчению, этого не случилось. А вечером медведь был водворён в свою берлогу – в шифоньер.

Наказана я была за какую-то другую провинность. Долго стояла в углу, не желая из упрямства просить прощения. Потом слёзы раскаяния заедала пряниками, сидя на коленях у тёти Оли. Такая вот воспитательная политика «угла и пряника» иногда применялась ко мне. Бывало, я с надеждой ждала выходного дня: может, как в прошлый раз, вместо надоевшей пшенной каши приготовят на обед вкуснейших бычков. Их, только что выловленных, продавали на базаре жёны рыбаков. Когда их, головастых, вываливали дома из кошёлки в большую миску, они ещё трепыхались, распуская жабры и шевеля хвостами. А самый прыткий выскальзывал из миски на клеёнку кухонного стола. Этого я спасала от сковороды. Помещала в банку с водой. Но бычок всё равно вскоре переставал проявлять признаки жизни. Наверное, потому, что вода в банке была пресная, из-под крана, а не морская, горько-солёная.

Не могу не поделиться воспоминанием о моей первой прогулке при луне. Тётя Оля и дядя Тиша в один из летних вечеров отправились пройтись по центральной Итальянской улице и взяли меня с собой. Вряд ли нужно было в этот вечер зажигать фонари – так ярко сияла над городом луна. Итальянская была полна отдыхающей публикой. Тётя Оля с дядей Тишей то и дело останавливались, встречая знакомых. Мне стало скучно, да и было уже поздно – я принялась хныкать: «Хочу спать... хочу спать...». Тётя Оля пыталась развлечь меня: «Посмотри, какая большая луна...». Мы повернули к морю, серебрящемуся от лунного света... А сейчас (но не тогда!) мне представилась мама, оставшаяся дома с моим полугодовалым братишкой. Бедная мама! О чём думалось ей в тот вечер? Не о прогулке же при луне!.. Да и не в чем было выйти на великолепную Итальянскую. Нарядное выходное

платье было продано в комиссионке. Дольше не имели спроса новые туфельки – уж больно маленький был размер. Но и на них в конце концов нашлась покупательница.

У мамы было среднее образование – по тем временам это кое-что значило. И вот замечаю: мама приободрилась. И однажды куда-то отправилась с дядей Тишей. Оказывается, устраиваться на работу. Не зря дядя Тиша чему-то обучал её по вечерам. Подготовил на должность счетовода в бухгалтерию, которую возглавлял. «Вот где теперь работает не только дядя Тиша, но и твоя мама», – указала тётя Оля на красивый санаторный корпус, когда мы с ней шли по набережной у моря. Недолго мы радовались. Не оттого ли судьба человека нередко зависит от случая, что случай сваливается на него неожиданно. И человек поступает в ответ необдуманно. Как была потрясена мама, когда в санатории, куда посчастливилось устроиться на работу, встретила среди отдыхающих судью, приговорившего нашего отца к пяти годам тюрьмы! Он не узнал изменившуюся маму. Но мама и через много лет узнала бы его постную физиономию и настороженный взгляд. И нет, чтобы тоже «не узнать» мерзавца, она в порыве нахлынувших чувств – негодования, униженного достоинства, обиды – окликнула его по имени. Ведь он до ареста отца был чуть ли не в приятельских отношениях с ним. В гости захаживал... Вскоре после злополучной встречи маме предложили уволиться «по собственному желанию». И начались мытарства в поисках работы, соответствующей положению жены осуждённого. Я перестала ходить в детский сад, а братишка – в ясли. Не было денег платить за них. А ведь стоило это совсем немного.

***

Тётя Оля с дядей Тишей говорили, что наш отец – человек безупречной честности, что произошла судебная ошибка.

Надо обратиться за справедливостью в Москву. И обращались в самые высокие инстанции. И каждый раз приходил бездушный отказ в пересмотре дела. Письма не доходят по назначению – считали наши родственники и мама. Вот ведь какое было доверие к центральной власти! Не могу вспоминать без горького умиления расстроенную маму, слушавшую радио уже в 1953 году. Сталин умер, но по радио ещё передавали сведения о состоянии его здоровья: повышенном давлении, плохом анализе крови и т. д. И вспоминается мамин вздох, полный сочувствия: «Несчастный человек!!!» А действительно, был ли Сталин счастливым человеком?

Родственники потеряли надежду на изменение положения моего отца. «Разведись с Василём, – настаивали мамины сёстры.– Временно разведись...» Но мама, находившаяся в полной зависимости от родни и никогда никому не перечившая, на этот раз возмутилась: «Предать мужа и без того страдающего на проклятой каторге! Ни за что на свете! Лучше уж погибнуть вместе с детьми...» И родственники отстали от неё. Но каково приходилось маме! Полная зависимость даже от родных людей – нелёгкий крест. От нас в беде никто не отворачивался, более того – жалели. Но что испытала мама, когда тётя Оля с дядей Тишей, решив отдохнуть, поселили нас на какое-то время у тёти Клавы с дядей Сашей! А те заводили разговоры, что после них мы могли бы немного пожить и у тёти Маруси. Но тётя Оля с дядей Тишей снова забрали нас к себе.

Время тянулось долго, но проходило быстро. Я начала учиться в школе. Среди отцовских писем у меня до сих пор сохранился ветхий листок, сильно пожелтевший от времени. Но, как говорится, что написано пером – не вырубишь топором. Всё ещё ярки написанные фиолетовыми чернилами строки, обращённые ко мне:

«Здравствуй, моя любимая дочурка Эмуся!

Очень давно не получал от тебя письма и сильно соскучился. Ты теперь окончила первый класс и уже гра-

мотная. Надо будет летом во время каникул читать книжки и не только для себя, но и для Лёки. Вот на следующее лето будем вместе, и тогда я буду читать ему.

Да, когда будешь писать мне, обязательно напиши, какие книжки прочла.

До свидания. Твой папа В. Марченко.

16-го июня 1941 год».

А через неделю началась Великая Отечественная война. Отец оказался на фронте, так и не увидевшись с нами.

***

Феодосия изменилась неузнаваемо. С Итальянской улицы словно ветром сдунуло беспечную публику. Здесь и там у громкоговорителя собирались встревоженные люди: во второй, в третий раз подтверждалось сообщение о начавшейся войне. Опустели санаторные корпуса: отдыхающие, пребывавшие в них, как рассказывал дядя Тиша, разъезжались досрочно. Мимо нашего переулка, по шоссе не катились, как ещё на днях, тележки с первой черешней. Двигалась нескончаемая колонна мобилизованных... в штатской одежде: ещё не успели выдать военное обмундирование – так внезапно началась война. Она не была совсем неожиданной. Её предвидели. Но не думали, что она начнётся так скоро. И сейчас не предполагали, что она будет такой долгой и такой кровопролитной. Даже песня, которую выводила колонна.., казалась не столько трагической, сколько торжественной. Именно в таком исполнении я впервые услышала:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Мы с мамой, взволнованные происходящим, стояли среди толпящихся на тротуаре женщин и ребятишек.

Очень скоро война подступила вплотную к Феодосии. Вздрагивал берег от разрыва мин в море. Вслед за воздушной тревогой над городом нависало тяжёлое гудение вражеских бомбардировщиков. Для маскировки белые здания в городе были перекрашены в грязно-серый цвет. Наш домишко – тоже. И вот в один из перерывов между бомбёжками со мной произошёл казус, о котором, не знаю, стоит ли здесь вспоминать? Наверное, всё-таки стоит, раз застрял в моей памяти занозой. После отбоя воздушной тревоги я в лопоухом любопытстве выбежала со двора посмотреть, что происходит вокруг. Обнаружив моё исчезновение, домашние взволновались. Дядя Тиша нашёл меня на углу переулка, и я получила шлепок по попе. «Не имеете права!» – выпалила я в ответ. Не знаю, заявила бы я это отцу, дрянь! А дядя Тиша привёл меня домой и задумчиво повторил моё «не имеете права...» Такая вот заноза застряла у меня в памяти.

***

Бомбёжки всё учащались. Многих ребятишек вывезли за пределы города. Я попала в соответствующую возрастную группу младшеклассников. Нас поселили в каком-то зданьице, стоящем на пригорке. Ниже в лощине, среди садовых деревьев, виднелись татарские жилища. Воспитательницы, отвечавшие за нас головой, спускаться в лощину не разрешали, как и вообще куда-то отлучаться. Взрослые обитатели деревушки к нам на пригорок не захаживали. Зато татарчата наведывались частенько.

Моя дружба с шустрой черноглазой девчушкой началась с обоюдного удивления созвучности наших имён. В ответ на моё «Эмма» она ткнула в себя пальчиком: «Алиме», – и рассмеялась. Обычно она взбегала на пригорок и, если не находила меня среди ребятишек, звала на свой татарский лад: «Эмэ-а...» Я прибегала на зов, и мы с нею совершали прогул-

ки. Иногда уходили недозволенно далеко, преследуя ящериц, снующих среди камней. Ох, уж эти ящерки! Не разноцветные бабочки, не голубые стрекозы (где их только не бывает!), а именно эти серенькие, длиннохвостые, невероятно юркие обитательницы каменистого взгорья вспоминаются мне. Одна особенно запомнилась, не могла не запомниться! Но случилось это уже намного позднее нашей с Алиме дружбы.

В один из дней летнего отпуска мы с братом, побывав у моей приятельницы, живущей в феодосийском пригороде, возвращались домой не автобусом по окружному шоссе, а пешком через горы. Миновав заросли шиповника, шли узкой тропинкой, петляющей среди пёстрого разнотравья. В каменистых местах яркие цветы сменялись жёсткими кустиками с резными дымчато-сизыми листьями и шарообразными соцветьями такой же окраски. Букет из этих живописных колючек не нуждается в воде и может, не меняясь, простоять в сухой вазе два-три года. Мне захотелось привезти крымскую диковинку на север, в Ярославль, где я теперь жила постоянно. Я выбирала взглядом, какие из колючек сорвать. И тут была остановлена неожиданным видением. Сбоку тропинки корявая виноградная лоза, похожая на стариковскую руку, протягивала нам с братом янтарную, спелую, но тощую, выродившуюся гроздь. И всё-таки на вкус угощение оказалось всё ещё отменным. Это было последнее напоминание о прежнем винограднике. Мы свернули с тропинки и вскоре наткнулись на остатки каких-то построек, разрушившихся почти до основания. Очевидно, здесь когда-то находилась одна из татарских деревушек. И вот тут я увидела эту ящерку. Приподняв плоскую головку и грудку, она, словно изваяние, застыла на камне, отвалившемся от фундамента. Ящерка пристально всматривалась во что-то, не замечая нас. Я изловчилась и накрыла её ладонью.

«Отпусти, – сказал брат. – Может, у неё есть детёныши». Я подняла ладонь, и чешуйчатая хозяйка развалин исчезла в мгновение ока. Это происходило годы спустя по-

сле окончания войны. А в самом её начале мне довелось побывать в горном татарском жилище.

Меня привела к себе домой Алиме. После наружного света я не сразу разглядела предметы скромного домашнего обихода. Позднее мне доводилось видеть что-то похожее в музеях: невысокий столик и перед ним пёстротканый коврик на полу (глиняном здесь), в углу два кувшина с вытянутым, как у гусей, горлом. А здесь с первого взгляда поразил мерцающий оранжевый диск напротив входа. Так вот где прячется в дневное время луна! И тут же поняла: никакая это не луна, а всего лишь висящий на стене медный таз, начищенный до блеска. С низкого сиденья поднялась и заслонила «луну» женщина в тёмной одежде. Окинув меня сердитым взглядом, принялась что-то выговаривать Алиме на своём непонятном языке. Не думаю, что это был выпад против меня как таковой. Скорее лишь против моего появления в их доме. Не так ли отчитывала меня мама, когда я совершала какой-то неразумный поступок. И всё-таки на этом похожесь исчерпывалась. Слишком разными по характеру были эта необщительная женщина и моя душевно открытая мама. Не скажу уже, чем завершился мой визит к Алиме. Очевидно, не произошло ничего такого, что могло бы запомниться. А что-то выдумывать не хочу. Но само горное жилище, слепленное, будто птичье гнездо, из неведомо каких материалов, заворожило память. С ним не выдерживал сравнения наш глинобитный дом в городском переулке. Однако, когда Феодосия обросла стандартными пятиэтажками с проходными дворами, жильё, подобное нашему, стало обращать на себя внимание сугубо крымским колоритом.

Однажды в конце 1970-х у нас в гостях побывал некий литератор из Средней Азии, как он сам представился. Я познакомилась с ним или, вернее, он со мной – в Коктебеле, расположенном рядом с Феодосией. Так близко от неё, как далеко от Средней Азии. На празднике поэзии в Коктебеле я прочитала стихотворение о Феодосии моего детства:

Такой ли Феодосия была?
Воспоминанья детства так не точны!
А может быть, об этом я прочла,
И всё придумал сказочник восточный?
Но был же,
Был же старый абрикос,
Касались ветки черепичной крыши...
Он во дворе у нас когда-то рос,
И от плодов он становился рыжим.
И ослик был. Он на зиму возил
Нам антрацит.
Взбиралась я на козлы.
И горы были за двором, вблизи,
И крапинки на их вершинах – козы.
По вечерам спускались с гор стада,
В порту огни таинственно мерцали.
Дома на главной улице тогда
Казались двухэтажными дворцами.
Кончался город берегом морским.
Я не могла на волны наглядеться...
Всё изменилось, стало всё другим.
Одно лишь море
Синее – как в детстве!

После моего выступления ко мне подошёл незнакомый человек и сказал, что очень хотел бы записать это стихотворение. Он родился и жил в детстве в Феодосии. А потом не из любви к перемене мест оказался со своей семьёй в Средней Азии. Мы разговорились, я пригласила его в гости в Феодосию. И что же получилось! Увидев наше жильё, гость решил, что оно досталось нам в результате депортации из Крыма татар. Он так разволновался, что расплескал вино, налитое в его бокал. Пришлось объяснить, что дом был куплен моими родственниками в 1927 году, более чем за полтора десятка лет до выселения из Крыма жителей татарской национальности. Как бы там ни было, я была рада, что нет основания сомневаться в наших домовладельческих правах.

Глава III

ЭВАКУАЦИЯ В КРАСНОДАРСКУЮ СТАНИЦУ

У меня сохранились фронтовые письма отца. Одни написаны маме, другие – мне. Маме – убористым почерком, мне – крупными буквами: перед войной я только-только одолела букварь. А братишка ещё не умел читать, но всегда знал, что «пришло письмо от папы». Однажды письма, адресованные мне, куда-то запропастились. Я долго искала их, пока не увидела у брата под подушкой. «Отдай! – потребовала я. – Мои письма!..» Братишка безропотно вернул похищенное. А ведь письма были не только мои. В каждом из них обязательно были слова, обращённые отцом к маленькому сыну.

Отец стал миномётчиком. В одном из писем он рассказывает: ***«Весь день мы вели бой. Наши миномёты накаливались иногда до такого состояния, что невозможно было стрелять. Уже солнце клонилось к западу, когда к нам на помощь пришли четыре танка. Немцы лезли, как обезумевшие. Зашло солнце, ушли танки, а немцы всё ещё стремились ворваться в село, занятое нами. Они захватили несколько домов на окраине, и начался бой за каждый дом. Настала ночь. У нас были израсходованы все мины. Мы погрузили миномёты на подводы и отправили в тыл, а сами пошли в бой с винтовками...»***

Отец успокаивал маму: ***«Тебя тревожит, что в последнем письме я написал – идём в наступление. Моя***

любимая! Мы так часто бываем в боях, что привыкли к этому... Недавно прочитал в газете замечательное стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь...» Да, да! Жди, и я вернусь». Отец переписал стихотворение и прислал маме. Он страстно мечтал о встрече с нею: ***«Целую тебя крепко-крепко, как буду целовать, когда вернусь»***. И уверял: ***«Меня не убьют на войне. Я жив, а ведь не раз бывал в боях. Немецкие танки проходили в 20-30 метрах, а я жив! Автоматчики били кругом – а я жив»***. Безусловно, отец понимал, какой опасности подвергается на фронте. Получилось так, что несколько месяцев мы не имели возможности переписываться. ***«Моя жизнь может оборваться в любую минуту, но пока жив человек, он думает о живом. Чуть что и – мысли о семье»***, – обратился отец в горсовет Кропоткина, по месту нашего предполагаемого нахождения, прося помочь разыскать нас.

А произошло следующее. По настоянию тёти Оли и дяди Тиши мама со мной и моим братишкой эвакуировалась из прифронтовой Феодосии. Прощались, не зная, встретимся ли снова. Феодосия сотрясалась от бомбёжек, надвигалась вражеская оккупация. Море, по которому мы эвакуировались, было нашпиговано минами.

На пароходе мама держала возле себя моего малолетнего брата, а мне, старшей, была предоставлена свобода. И какая свобода! Мне и сейчас видятся эти минуты. Я разгуливаю по нашей верхней палубе и – смотрю, завороженная: навстречу несутся изумрудно-прозрачные волны с жемчужно-белыми перистыми гребнями. Внизу, рядом с нашим пароходом, защищённым от мин траловой сеткой, качается на волнах военный катер, сопровождающий нас. Палубы и каюты переполнены женщинами и детьми, больше детьми. «Посмотри, посмотри, – тревожно показывает одна женщина другой на что-то темнеющее среди волн, – не мина ли?»... А до моего детского сознания не доходит, как опасен наш рейс... Вздымаются, опадают и снова вздымают-

ся волны. Возбуждённые их движением и яркой красотой, гомонят на палубе дети.

Завершился смертельно опасный рейс торопливой высадкой в новороссийском порту. И вскоре за этим открылось уже из вагонных окон и поразило нас море огней вечернего Краснодара. Мы ведь добирались сюда из Феодосии, тщательно затемнённой с вечера до утра на случай очередного воздушного налёта. А Краснодарскому краю ещё не угрожали бомбёжки.

Поезд тронулся мимо городских огней. А утром многочисленных эвакуированных – не только из Феодосии – высадили на полустанке. Разделили на группы и на грузовиках отправили в разные станицы.

Нас поселили в пустующем доме без хозяев. Видимо, по поручению начальства, пришла молодая статная казачка с ведром ярко-красных помидоров – угощением на всех. Присев у стола, она поделилась своей тревогой: мужа мобилизовали в первые дни войны, а письма от него давно не было – жив ли?

- Будем надеяться на лучшее, – постаралась мама успокоить молодую казачку и себя тоже.

Война подвергла коварному испытанию супружескую верность. К нашей группе, состоящей из женщин и детей, прибились двое ещё нестарых мужчин. Один из них с ходу познакомился с местной жительницей. Она хвасталась: давеча отобрал у неё возле колодца ведёрко с водой и отнёс в хату – не надрывайся, милая! Муж, где-то воевавший теперь, не был таким внимательным.

Любезник, поселившийся в уютной хате податливой бабёнки, редко появлялся в нашем общем пристанище. С нами остался его сопутник. Запомнился он печальными глазами и вздохами о какой-то красавице, с которой перед войной расстался по глупой причине, как он считает теперь: заметил у неё в волосах что-то похожее на вошь. «Вот ведь каким был разборчивым», – удивлялся он, почёсываясь: мыло у нас давно отсутствовало.

Вскоре несколько ещё оставшихся в станице местных мужчин и двое наших сопутников были мобилизованы. Они собрались у дороги, напротив нашего дома, ожидая отправки на сборный пункт. И вдруг наш недавний сожитель оторвался от них, подошёл к нашему распахнутому окну и, такой высокий, представительный – разрыдался. Наверно, хотел попрощаться с нами, а прощался со своей жизнью. Уцелел ли на фронте – неведомо.

О нём долго напоминал синий цветок, нарисованный на листке, вырванном из альбома. Цветок нарисовал и подарил мне наш печальник. А весь альбом, полностью чистый, отдал бедовому Лёньке. Не затем ли, чтобы Лёнька не рисовал где попало: в тетради по арифметике, на клочках обёрточной бумаги и даже на стенках не только нашего, но и соседнего дома. К нам пришла соседка с жалобой на Лёнькино «художество».

Лёнькина родительница Надя схватила кожаный пояс от своего пальто. Но проворный Лёнька успел удрать. А Надя очень любила своего неугомонного сынишку, и гнев её быстро испарился. Была Надя женой феодосийского рыбака, сменившего в начале войны рыбачью фелюгу на торпедный катер. И теперь вместе со своими детьми – Лёнькой, моим одногодкой, и Аней, совсем ещё маленькой – занимала один из углов нашей общаги.

Наш обладатель печальных глаз работал перед войной, как он рассказывал, декоратором в одном из киевских театров. А Лёнька в своём недавнем прошлом был всего лишь мальчишкой из Карантина. Так называли и поныне называют западную окраину Феодосии, лежащую на каменистом взгорье у моря. Название связано с её былой санитарно-охранной деятельностью. А вся история окраины уходит в такие глубины минувшего, что представляется кладовой вечности. Многое стёрто с лица земли движением времени. Но сохранились остатки генуэзских укреплений XIV – XV веков. Как ни менялась Феодосия с годами, а её западная

окраина оставалась верной своей самобытности. Небольшие домики здешних жителей до сих пор соседствуют с громоздкими башнями древних укреплений. Мы с братом, уже взрослыми, любили совершать прогулочные экскурсии по Карантину: оказывались прямо-таки в фантастическом мире. Ну а Лёнька провёл здесь всю свою девятилетнюю жизнь.

Карантинских мальчишек с их ершистыми от морской воды волосами и цветом загорелой кожи, похожих на золотистую копчёную кефаль, трудно представить без моря. Вот, хлопнув калиткой, бегут по узкой уступчатой улочке на причал. Вот помогают отцам разгружать приведённые с уловом фелюги. А вот ныряют с обросшего ракушками мостка и уплывают так далеко, как будто не собираются возвращаться назад. Такой вольной волей пользовался счастливец Лёнька. А меня и братишку одних никуда не отпускали. Иногда вместе со взрослыми посещали городской пляж. А так как взрослые были постоянно заняты работой, мы оставались в нашем тесном дворике. Немудрено, что росли необщительными. Но появился Лёнька – и меня как подменили. Мою маму беспокоило влияние самовольного мальчишки на поведение дочки, становившейся всё непослушнее. Зато Лёнькина мама, рыбачка Надя, улыбалась и называла меня снохой. Я лишь смутно догадывалась, что означает слово «сноха». Другое дело – «невеста». Кому же не известна дразнилка «жених и невеста – тили-тили тесто...»! Но к нашим с Лёнькой отношениям она нисколько не подходила. Первая детская неосознанная влюблённость отуманила меня несколько позднее. А с Лёнькой мы были только друзьями. Зато какими неразлучными! Конечно, в наших отношениях главенствовал Лёнька. Он нисколько не тяготился моей от него зависимостью. А моё восхищение его талантом живописца принимал как само собой разумеющееся.

- Ты, что же, Лёнька, всё умеешь рисовать?

- Умею...

- Тогда нарисуй... нарисуй Гитлера!..

Лёнька раскрыл альбом, но пожалел чистый листок для такого гада. И прибегнул к стенописи. Извёл чёрный карандаш, рисуя урода на ветхой побелке. И подписал: «Это Гитлер...» Далее следовали слова, неизвестные мне.

- Не смей повторять! – возмутилась мама. – Это... отвратительное ругательство!

А рыбачку Надю рассердила испорченная стенка и без того неприглядного нашего жилья.

- Ах ты, пачкун непутёвый! – расшумелась она. – Чтоб глаза мои этого не видели...

Мы с Лёнькой тёрли стенку, пока на ней не осталось лишь мокрое пятно. Лёнька рисовал с такой увлечённостью, что, конечно, обнаруживались его явные способности к рисованию. Но о них никто из окружающих не догадывался. Разве что ненадолго появившийся среди нас безвестный декоратор, подаривший озорнику альбом. Да ещё я была горячей поклонницей его «творчества». Но не суждено было Лёнькиным способностям развиться в настоящий большой талант. Слишком рано оборвалась его жизнь. Трагедия произошла вскоре после окончания войны. Тогда я и узнала о ней.

Мама, я и братишка возвращались в Феодосию из эвакуации. Нас в последние минуты пути встречала за окном вагона не прежняя стройная красавица-набережная, а сплошные ощеренные руины. Набережная обезлюдела. Лишь в одном месте копошилась группка в зелёно-серых шинелях: немецкие военнопленные разбирали развалины. Несколько в сторонке скучал конвойный с ненужной винтовкой, стоящей рядом у дерева. Никто из пленных убегать не собирался. А нашу набережную восстановили мы сами, наши строители.

Немногое уцелело в центре города. Больше сохранились окраины. И по-прежнему возвышались над морем генуэзские башни, словно само время, обернувшись туманом давности, замаскировало их и спасло от обстрелов и бомбёжек. Мы вдвоём с мамой, не помню уж по какой надобности, пробирались одной из центральных улиц. Послевоенные руи-

ны пугали своей непредсказуемостью: того и гляди рухнет стена, оставшаяся от какого-то здания и непонятно каким образом ещё держащаяся стоймя. Народу попадалось мало. Мы сразу обратили внимание на женщину с девочкой, идущих навстречу. Когда они приблизились, мама первая узнала рыбачку Надю. После взволнованных восклицаний они внимательнее взглянули друг на друга, словно знакомясь заново. Надя заметно изменилась. Исчезла бьющая через край бодрость, лицо стало неулыбчивым. А тихая девочка, стоящая рядом с нею, была, конечно же, сильно вытянувшаяся Аня, сестрёнка озорного Лёньки. Она серыми глазками так напоминала своего брата, что мне хотелось спросить, где он, но я стеснялась. О нём спросила мама:

- А Лёнька ваш, наверное, уже совсем жених?

- Нет больше нашего Лёньки, – сказала Надя и словно поперхнулась словами.

Мама смотрела молча, боясь расспрашивать. А Надя, справившись с приступом горя, перехватившим дыхание, сама рассказала обо всём. Оказывается, непоседливого Лёньку с одним из его карантинских дружков неизвестно зачем занесло в развалины набережной. Там попалась на глаза неразорвавшаяся граната. Подобрали, и – рвануло...

- А батька наш на своём торпедном сгинул в море... вот так-то, сноха, – и Надя коснулась скорбной ладонью моего плеча.

***

Сейчас, когда я пишу эти строки, Надя представляется мне в двух обликах: эта, оглушённая горем, и прежняя, бойкая, не унывающая даже в тяжёлой эвакуационной обстановке.

Надя сблизилась с моей мамой, русской, как и она, и общительной Розой, еврейкой из Феодосии. Роза была старше Нади и моей мамы. Её дочка Фаина перед самым началом

войны окончила среднюю школу. Должно быть, выносливая от рождения, Фаина сохранила довоенную привлекательность: пухлые щёчки и румяные уста. На своих соседей по жилью она не обращала внимания. Не из высокомерия. Просто мы были неинтересны ей. Она водила дружбу только с худощавой девицей, занимавшей уголок за печкой. Не знаю, какой национальности была Фаинина подруга и не помню, как её звали. Да и не в этом дело. Их сближал одинаковый возраст и, очевидно, схожесть интересов. Как и двух молодых девах из станицы, приходивших к ним в гости. Удивляюсь, как умудрялись они, все четыре, размещаться в уголке за печкой. Сойдясь, они там о чём-то секретничали. Я иногда проникала к ним. Но не слишком понимала, о чём они шепчутся и почему хихикают. А занимал их, как сказали бы в нынешние откровенные времена, секс, засекреченный тогда. Скучища, да и только! Лишь одно единственное из появлений станичных девах стало ярким воспоминанием: они принесли большую оранжевую тыкву.

Ломтики тыквы, испечённые на противне в печке, были редким лакомством. В отличие от жёсткого кукурузного хлеба – нашей основной еды. Но каждодневный хлеб доставался эвакуированным не совсем задаром. Правда, не могу похвастаться, что и сама убирала в поле, например, свёклу. Вспоминается лишь такая картинка: длинный стол под навесом, сколоченный из досок. Я несу к нему, придерживая подбородком, стопку алюминиевых мисок – я в помощницах у стряпухи Симы. Она помешивает поварёшкой в большущей кастрюле, стоящей на горячем тагане. Вкусно пахнет варевом из свежих овощей. Близится время обеда. С поля вместе с другими женщинами придёт моя мама... Запомнился и такой момент: я лью воду на руки мамы, а с них стекает землистая жижа – в овощехранилище перебирали остатки картошки, начавшей портиться. Было это уж на исходе зимы.

Всё тяжелее жилось станице. Но дети оставались детьми. Помню, как весело местные ребятишки катались с ле-

дяной горки: кто на салазках, кто на дощечке, а некоторые – лихо на своих двоих. Обычно я приходила вместе с Лёнькой. Он сразу стал своим среди маленьких удальцов. А дружеское отношение к нему коснулось и меня. Но на этот раз я почему-то пришла одна и стояла в сторонке, не решаясь смешаться с весёлой гурьбой. И тут какой-то задира, пробегая, выкрикнул: «Толстопузая!.. Толстопузая!..» Не от взрослых ли заражаются дети недоброжелательством к другим людям – кто знает? Я была худющей. Но на мне было лёгкое пальтишко, и мама укутала меня под ним в толстый вязаный платок. Из-за обидного окрика я наотрез отказалась от платка и в конце концов простудилась. У меня поднялась температура и не только разболелось горло – даже нёбо распухло. И мама по совету кого-то из местных отправилась со мной к целительнице.

И сейчас видится её мазанка-невеличка и она сама – сгорбленная и морщинистая, словно сухой гриб. Она усадила меня на лавку и, заглянув в мой разинутый рот, сказала, к моему ужасу, что у меня – жаба. Лишь спустя годы я узнала, что «жаба» означает не только пучеглазую, бородавчатую родственницу лягушки. Но, в частности, это и есть ангина или удушье в буквальном переводе с латинского, как объяснялось в толковом словаре. Такую жабу когда-то надуло в горло гоголевскому Акакию Акакиевичу. Как известно, бедняга тяжело захворал и умер. А я вот выжила и, может быть, только благодаря станичной целительнице. Заговаривая хворобу, она что-то зашептала надо мной и, продолжая шептать, смазала мое огрузшее нёбо растолчёнными и смешанными с мёдом квасцами, если не ошибаюсь. Стопочку этого снадобья, бирюзового на цвет и кисло-сладкого на вкус, она дала маме с собой. После посещения целительницы я вскоре оправилась от привязавшейся хвори.

Моё последнее воспоминание о станице – живительный весенний воздух и обнажившийся за хатами чернозём с зе-

лёными лучиками первых травинок. Но стало не до весны: фронт приближался. Теперь уже не организованно, как во время нашего прибытия в станицу, а разрозненно – одни на случайном грузовике, другие на попутной подводе, а некоторые и вовсе пешим ходом – эвакуированные тронулись в путь.

У нас было совсем немного вещей. Маму волновал только портфель с записками нашего отца о Гражданской войне и с документами, связанными с его партийной работой. Отец просил сохранить всё до его возвращения к нам. Недаром мама так беспокоилась о портфеле. Наверное, моё теперешнее повествование получилось бы обстоятельнее, если бы удалось сберечь отцовский архив и я ознакомилась бы с ним.

Каким-то чудом мы добрались до железнодорожного полустанка. Мы направлялись в Кропоткин к маминой мачехе, не ждавшей нас.

Глава IV

В ОККУПАЦИИ В КРОПОТКИНЕ

До места добрались мы во время бомбёжки, и теперь уже не припомню, как были встречены моей неродной бабкой Акулиной Максимовной. В доме, принадлежавшем ей, были две комнаты и застеклённая веранда. В те дни в нём, постоянно сменяясь, проживала куча народу – всех не перечислишь. Дольше других задержалась беженка Агафья, двоюродная бабкина сестра с внучонком Димкой. Невольно среди нас оказалась родная бабкина племянница Ираида со своим ползунком, сынишкой, кажется, а может быть, и дочкой. Запомнилось подвижное существо, постоянно пребывающее на полу: взрослые охали, боясь наступить на него. Ираида была местной жительницей и перебралась к Акулине после того, как в её собственном доме взрывной волной покорёжило оконные рамы. Едва окна починили, Ираида, устав от нашей теснотищи, покинула нас не колеблясь. Да и надёжного убежища от бомбёжек не было нигде. На что уж казалось, бабкин дом находился на окраине города, утопающей в садах, но это не спасало от воздушных налётов. Наша, почти сельская улица, как и соседние с нею, начиналась от железнодорожной магистрали. От неё отделяла лишь неширокая балка. Железная дорога уцелела: зенитки не позволяли вражеским бомбовозам быть меткими. Но прямое попадание зажигательных бомб и фугасок унич-

тожило многие частные домики. Помню, как после одной из бомбёжек я с испугом разглядывала смятую железную кровать с остатком цветастого лоскутного одеяла и опрокинутый разбитый шкаф, придавленный рухнувшей стеной. Всё, что осталось от соседнего домика.

Наша окраина глохла от бомбёжек. Однако в бабкином доме задерживались беженцы «с запада». Вспоминается юная Зинка, выглядевшая чуть старше подростка. Нагрянула она неведомо откуда и представилась бабкиной дальней родственницей, совсем непохожая на неё – десятая вода на киселе. В старости Акулина повязывала голову платочком, такой и запомнилась мне. На семейной же фотографии, о которой говорилось выше, волосы у неё тёмные, прямые, зачёсаны назад и, вероятно, стянуты узлом на затылке. А Зинка была кудрявой, непричёсанной блондинкой, чем и обращала на себя внимание. Не скажу, что всех и каждого бабка встречала с распростёртыми объятьями. Но явного неудовольствия не выражала – война диктовала свои правила гостеприимства. А во время оккупации, в которой вскоре мы все оказались, бабке было, как она сама признавалась, поваднее с нами.

«Знакомство» с первым фрицем произошло довольно неожиданно и могло бы показаться курьёзным, если бы нам со всех сторон не угрожала смертельная опасность. Был у нас во дворе крытый погреб. В нём спрятались от очередной бомбёжки женщины со своими ребятишками, в том числе мама с нами, двумя детьми. Но вот, судя по наступившей тишине, бомбёжка прекратилась, и мы решили выйти из укрытия. Мы не знали, что город занят немцами. В наш пустующий двор вошли несколько солдат и направились к дому. Один остановился у погреба, собираясь закурить. Но услышал шум за спиной и выронил пачку с сигаретами. Сбежались другие солдаты и о чём-то торопливо заговорили между собой. А подскочивший последним направил дуло автомата в глубину погреба. Вероятно, решил, что там

укрывается кто-то поопаснее нас. Мы выбрались наружу за минуту до автоматной очереди.

Обыскав дом, немцы двинули на улицу. А на земле, возле погреба, долго валялись рассыпанные сигареты, пока бабка не вымела их вместе с разным мусором.

Теперь мы ютились в проходной комнате и на веранде. Занимать вторую, более удобную комнату, остерегались: в ней несколько раз ночевали немецкие солдаты – вдруг опять вломятся. С громким топотом, с крикливыми разговорами. А как-то поселился солдат на несколько суток. Этот вёл себя тихо. Утром наше сборное семейство сидело за «кофе», тошнотной бурдой из отвара белой сахарной свёклы с какой-то коричневой заваркой. Незваный гость вышел из своей, а недавно хозяйкиной комнаты и замедлил шаг, разглядывая нас. Бабка возьми и пригласи его: отведай, мол, нашего пойла! Он тут же выразил готовность: «Гут, гут». Принёс стул и уселся с нами.

Не успел наш сотрапезник отхлебнуть и глотка из чашки, налитой ему, как явился офицер. Он принялся резко отчитывать миролюбца, а тот, вскочив, стоял перед ним навытяжку. Офицер, явный фашист, не обращал на нас внимания – не принимал за людей. Я это поняла, хотя была ребёнком.

Но самое тяжёлое воспоминание тех дней – измождённые лица наших военнопленных. Молчаливо двигалась колонна по неширокой балке, между железнодорожной насыпью и городской окраиной. По сторонам – немецкие конвоиры с автоматами наготове и с овчарками на поводках. Не подойти!.. Так и остались краюхи хлеба в руках у женщин, выбежавших из ближних домов.

На Кубани немцы продержались недолго. Военные успехи на всех фронтах уже начали разворачиваться в нашу сторону. Но захватчики старались всеми способами укрепить свою власть на оккупированной территории.

Была развёрнута немецко-фашистская пропаганда: развешивались антисоветские плакаты, выпускалась газетка, сообщающая о победоносных наступлениях германских войск. В одном из её номеров была помещена карикатура на Сталина, дрожащего от страха. И вдруг – мрачное признание проживавшего в нашем доме очередного немецкого солдата. Ткнул пальцем в карикатуру и заявил, что Гитлеру – капут... Вера в свою непобедимость среди «завоевателей» сильно ослабла.

Оккупация оставляла после себя следы. При ней в городе была открыта «начальная школа» для местных ребятишек. Помещалась она в частном домишке. Просторное здание нашей десятилетки заняли какие-то учреждения гитлеровцев. Должно быть, комендатура с полицией, а может, и гестапо. А «новую» школу ребятишки, хотя и немногие, посещали. Я тоже ходила в неё пару месяцев. Нам раздали прежние, но изувеченные учебники. Были вырваны целые листы, заклеены портреты прославленных героев, густо зачёркнуты многие слова. Можно было только догадываться, что это «Советский Союз», «Красная Армия», «пионерский костёр»... После освобождения Кропоткина мы какое-то время пользовались этими пособиями – других поначалу не было.

Кто конкретно занимался приспособлением школьных учебников к оккупационному режиму – неизвестно. Не сами же немцы, не знавшие русского языка!

Мама опасалась, как бы не дознались о нашем отце, бывшем партийном работнике.

- Ты, Настя, не слишком-то высовывайся, – предостерегала маму бабка Акулина, когда по улице мимо наших окон шествовала некая троица: пожилой отец из прежних богачей, затаившийся при Советской власти, и двое его молодых сыновей. Они переметнулись к немцам и подвизались в полиции. Говорили, что пожилой участвует в обысках. «А сынки-то... гляди, какие перевёртыши... Ведь комсомольцами были», – казалось, шептали листья на деревьях.

Наша улица, утопавшая в садах, не общалась с изменниками. А мама не удержалась и в разговоре с Зинкой высказала своё мнение: «Погубил родных сыновей... старый выползень»... Младшему было лет шестнадцать. Он, как и старший с отцом, носил красивую казачью форму, очень идущую к его яркой внешности.

Обычно они возвращались «с работы» все трое вместе. К этому времени я занимала «наблюдательный пункт» у калитки. Я не вполне сознавала, что ожидаю их только из-за мальчишки. Но однажды его не оказалось с ними. Это взволновало меня. Я была необузданной фантазёркой: мне представилось, что его самого задержала полиция и я больше не увижу его. А когда он появился, я, вероятно, так вытаращилась на него, что он прошёл мимо, гордо вскинув голову. Теперь я понимаю, что его гордость была показной.

А потом произошла невосполнимая утрата. Перед вечером братья, идя по улице и о чём-то переговариваясь, посматривали в сторону нашего двора. Кто знает, что интересовало их? Скорее всего, они надеялись увидеть юную улыбчивую Зинку. Но из дома вышла мама, женщина, с точки зрения их возраста, немолодая, да ещё смотрящая настороженно. Они нахмурились и отвернулись. И вот тогда мама, дождавшись сумерек, отнесла в сад и бросила в заплесневелый полуразвалившийся колодец портфель с партийными документами и тетрадями воспоминаний нашего отца. После она сильно сожалела о своём поступке. Но, может, мы остались в живых потому только, что наши войска вскоре освободили город. Трое злополучных предателей бежали с немцами.

А наш отец сообщал с фронта: ***«Как ни труден был путь, мы дошли до станции Касторной. Здесь мне довелось участвовать в бою с немцами у деревни Ореховой. На том самом месте, где в 1919-м бился с белыми...»*** В другом письме отец рассказывал: ***«... село мы заняли с боем. Ворвались, обойдя его с тыла. Бой длился не более***

трёх часов. Венгры, немцы, румыны смешались здесь. Били их из винтовок, пулемётов, мы – из миномётов. В ближайшем переулке мы захватили три вражеских миномёта и много мин. И начали громить всю эту банду их же собственными минами».

Нашу кропотскинскую окраину непосредственные бои обошли стороной. Было ясно, что оккупанты убрались из города. И вдруг тишину нарушил громкий треск мотоцикла, промчавшегося по нашей улице к балке, но тут же повернувшего назад и пропавшего из вида.

- Румын, – определила Зинка национальность заблудившегося мотоциклиста.

Кого только не заносило тогда в наши края! Один из «постояльцев» объявил бабке Акулине Максимовне, что он «не есть» немец, он австриец.

«Один чёрт!» – отрезала боевая бабка.

«Шорт?» – не понял австриец.

Глава V

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ОТЦА

После освобождения Кропоткина наша переписка возобновилась не сразу. Отец писал маме: ***«Не стану говорить о моих переживаниях в то время, когда вы находились у немцев. А тут ещё товарищ рассказал о том, как перед оккупацией немцы бомбили Кропоткин, и я решил, что вас нет в живых».***

Мне и моему брату отец написал на отдельном листке: мне – на одной стороне, брату – на другой. Он словно подхватывает на руки моего пятилетнего братишку: ***«Мой сынок маленький, я люблю тебя сильно-сильно. Скоро приеду к тебе. Вот тогда погуляем с тобой и поиграем...»*** Не меньшей любви полны строки, обращённые ко мне. Подступает комок к горлу, когда перечитываю их: ***«Получил сегодня от тебя письмо. О, как я обрадовался! Я, доченька, думал, что фрицы вшивые вас поубивали, а вы живы. Я так рад, будто у меня большой-большой праздник».***

Отец не переставал беспокоиться о нас. Он укоряет маму: ***«Твои письма такие короткие! Я очень плохо представляю, как вы живёте в Кропоткине, где побывал немец. Можно ли купить что-то из одежды и обуви, и какие у вас цены? В моём представлении вы сейчас совершенно оборванные».***

Ну, не то, чтобы мы были совсем оборванными, отец! Твоя дочурка, как ласково называл ты меня, одевалась

весьма своеобразно. Вот она выходит из калитки. У неё на ногах опорки, утратившие форму и цвет. Зато какой шикарный на ней жакет!

Эта обнова вместе с другими подержанными вещами прислана заокеанской благотворительной организацией и по распределению досталась моей маме. Она ушила жакет в боках и укоротила рукава. И вот я щеголяю в нём. Лишь обвисшие плечи выдают, что прежде он принадлежал какой-то солидной даме, а не девчонке-школьнице вроде меня.

Отец помогал нам как мог. Присылал свои фронтовые надбавки. Они выплачивались лишь тем фронтовикам, которые непосредственно участвовали в боях, то есть постоянно находились между жизнью и смертью. Как только после освобождения Кропоткина связь с нами возобновилась, отец известил маму: ***«Я перевёл тебе три тысячи рублей. И в тот же день начфин отправил в Кропоткин аттестат, по которому тебе ежемесячно будут выплачиваться городским военкоматом 450 рублей из моего денежного довольствия. Кроме того, на днях получу несколько сотен фронтовой надбавки и перешлю вам. Мне самому деньги редко когда требуются – только на партийные взносы, которые, как ты знаешь, уплачиваются в обязательном порядке»***. В этом, казалось бы, излишнем уточнении чувствуется желание отца обратить внимание мамы – восстановлен в партии! Таким вот был убеждённым партийцем. Как бы обиняком в письме затронуто пережитое: ***«Ты ничего не написала о жизни в немецкой оккупации. «Как в тюрьме» – это мне ничего не говорит уже по одному тому, что ты же не знаешь, как в тюрьме... Теперь, когда я нахожусь на фронте, ты можешь ни от кого не прятаться, а быть моей женой, какой была всегда. К тебе одна просьба: не падай духом, не унывай! Помни, что самое тяжёлое позади»***, – ободряет маму отец.

Сколько же жизнестойкости было отпущено природой моему отцу, если, несмотря на все превратности и удары

судьбы, он сумел сохранить силу своего характера!

Он писал с фронта: ***«Сегодня мне исполнилось 45 лет. Прямо не верится! Я чувствую себя совсем молодым. У меня в кармане завалялась моя весенняя фотография – решил послать её вам».***

Письмо отец написал 26 февраля 1944 года, в день своего рождения. А снимок, как видно, сделан весной 1943 года. На лесной опушке стоят полукругом семеро фронтовиков. На обороте фотографии сохранилась надпись, сделанная простым карандашом – почерк не отцовский. Надпись следующая: «Справа налево: 1. Лейт. Олейников Иван, 2. Мл. л-т Юдин, 3. Миша, 4. Фоторепор. Морозов Рафит, 5. Лейт. Голошубов, 6. Старшина, 7. Мл. л-т Марченко Василий». В надписи почему-то не указана фамилия Старшины. А Миша – мальчик в военной форме; очевидно, сын полка. Крайний слева – мой отец, в то время младший лейтенант... Уцелел ли на фронте хотя бы кто-то из них?

Сравниваю отца с другими снявшимися и убеждаюсь: он среднего роста, крепок с виду. Отец спрашивал: узнала ли я его или уже забыла? А я теперь уже и не помню, сама или с маминой подсказки узнала его на фотографии.

Я бережно храню две фронтовые фотографии отца: одна – эта групповая, другая – портретный снимок. Отец писал маме: ***«Посылаю тебе свою фотокарточку, чтобы вы знали, какой я есть. Она, конечно, не совсем отображает меня. Но по-нашему, по-фронтовому, – даже хорошая (несмотря на то, что засвечена). А вообще – бывают лучше».***

Какое счастье, что сохранился фронтовой фотопортрет отца! Пусть даже не слишком хорошего качества: трудно разобрать – то ли слегка засвечены, то ли тронуты сединой прикрытые пилоткой коротко подстриженные волосы. Но в целом фотоснимок достаточно чёток: у отца крупные черты лица, возле прекрасно вылепленных сомкнутых губ – две глубокие морщины. От сосредоточенного выражения глаз сжимается сердце – столько в них пережитого... Пока жива – не имею права забывать о твоей судьбе, отец!

***

Человеческая память почему-то устроена таким образом, что нередко забываешь сравнительно недавнее, но с годами ярче и отчётливее видится, казалось бы, давно минувшее. Вижу себя идущей в школу вдоль железнодорожной насыпи. Громыхая, проносится воинский состав. Из распахнутых дверей вагонов-теплушек смотрят бойцы. На платформах, следующих за вагонами, – замаскированные ветками танки и артиллерийские орудия. Из Кропоткина (небольшой город, но крупный железнодорожный узел – станция Кавказская) уходят на фронт эшелоны... А я иду в школу. У меня в портфеле вместе с учебниками лежат папины письма. Я горжусь ими и могу пересказать, о чём в них написано: ***«Бьём фашистов и гоним их с нашей земли. Скоро совсем покончим с ними, и тогда буду жить с вами. Вот тогда у тебя будут все книги, какие захочешь, и бума-***

га, чтобы писать и рисовать. Куплю тебе, как только вернусь». Или такие строки: ***«... Ты пишешь, что прочитала «Каштанку» Чехова. Не правда ли, Каштанка умненькая?.. Читай, дочурка, много-много. Во-первых, это очень интересно, а во-вторых, полезно. Подрастёшь – поймёшь это...»***

Если мама проверяла содержимое моего портфеля, она извлекала из него письма: «Потеряешь в конце концов...» Но это письмо она сама положила в портфель: «Дай прочесть Елене Денисовне...» А в нём было следующее: ***«Из твоего письма узнал, что занимаешься ты отлично. Я тебе верю, но хочу, чтобы об этом написала твоя учительница. Попроси, чтобы она прислала мне твои отметки и написала бы о твоём поведении»***.

Не знаю, успел ли отец получить ответ от Елены Денисовны – родительская дотошность моего отца растрогала её. Появление Елены Денисовны в моей жизни было, наверное, предопределено судьбой. Без встречи с нею не доставало бы бесценного звена в цепочке и без того скудных моих представлений о собственной родословной. Сама того не ожидая, я пробудила у Елены Денисовны воспоминания светлых дней её жизни. К её удивлению, я оказалась племянницей Олечки Григоровой, с которой она когда-то, «тысячу лет назад», дружила в гимназии. Разговаривая со мной, она уходила в давным-давно минувшее. А я старалась увидеть – хотя это требовало немалого воображения – вместо представительной дамы в пенсне, какой стала Елена Денисовна, изящную голубоглазую Леночку и рядом с ней круглолицую кареглазую Олечку, первую ученицу в классе.

Ах, дружба с Олечкой! Они бывали друг у друга дома. Олечкина мама была такой благовоспитанной и чуткой... Из уст учительницы я услышала много лестного о своей родной бабушке Антонине Николаевне, в замужестве Григоровой. Её девичью фамилию никто не сообщал мне, а я сама узнать не удосужилась.

Не загадка ли! Бабушка всегда представала перед моим внутренним взором так явственно, словно я когда-то видела её наяву. А ведь даже сильно выцветшую фотографию, на которой она запечатлена, я обнаружила у своих родственников совсем недавно. Фотография только подтвердила соответствие моего представления действительности. На снимке бабушка в старинном строгом платье. С высокой причёской светлых волос. Личико кроткое, нежное... Фотоснимок сделан ещё до бабушкиного замужества. Как выглядела бабушка потом – не представляю. Потом пошли дети. Пятерым из них суждена была долгая жизнь.

А бабушка умерла молодой. От женской болезни. Истекла кровью. Незадолго до её смерти семейный порог переступила недурная собой молодая бабёнка, вскоре ставшая мачехой осиротевших детей. Фактически, не всех пятерых, а только троих младших. Одна из старших дочерей была уже замужем. К ней ушла и другая, не поладив с мачехой.

Мой дед, Иван Павлович Григоров, служил в правлении железной дороги и жил со своей многодетной семьёй в квартире, предоставленной этим доминирующим в городе ведомством. А уже под старость приобрёл земельный участок, построил на нём дом и развёл сад. Его вторая жена была неграмотной, но зато хваткой в практической жизни. «Денежки любила до страсти», – вспоминал в разговоре дядя Гаврюша, мамин брат. Я и сама убедилась в этом, когда во время войны жила у неё в доме. Дом с фруктовым садом достался ей по завещанию моего деда. У неё был от него ребёнок, сынок Павлик, но умер малолетним. И теперь она часто вспоминала своего Павлика. Других собственных детей у неё не было. Размашистая природа, безучастная к отдельной человеческой жизни, не наделила плодовитостью такую, казалось бы, цветущую бабёнку. Роди она второго, третьего ребёнка, возможно, и к неродным детям относилась бы иначе. А теперь совсем очерствела. Она завидовала беременным женщинам. «Выставила пузо!» – фыркала им

вслед. На старости лет Акулиа осталась одна. Мужнины дети разъехались. О моей маме она с явной обидой как-то сказала: «Думала, что Настя со мной останется, а она замуж выскочила...»

С давних дней, когда приходилось заботиться о большой семье, пусть и с неродными детьми, сохранила Акулина привычку с утра до вечера хлопотать по хозяйству. Но если прежде её расторопность шла на пользу семье, то теперь всё кончалось прахом. Как-то запрягла в телегу Зорьку, свою коровёнку, снарядилась между бомбёжками за бураками (красной свёклой) на заброшенное колхозное поле. А Зорька то ли надорвалась, то ли вымя простудила. Захирела и перестала давать молоко. Пришлось дармоедку продать на мясо. Опустел коровник. В один из его углов бабка поставила ящик и сказала мне: «Сюда высыпай». Речь шла о кусочках угля, выбранных из кучи шлака. Ещё тёплый шлак из паровозных топок вываливали рядом с депо.

Не скажу, что кто-то вынуждал меня заниматься «заготовкой топлива» на зиму. Но этим увлекались трудолюбивые ребятишки и подростки нашей окраины. Тут присутствовал особый азарт. Каждый старался, орудуя скребком, найти угольки покрупнее. Тащу, бывало, сумку с углём. Высыпаю добытое в ящик. Угля в ящике, к моему огорчению, прибавляется маловато. А руки даже щелочной водой не отмываются до конца. Мама называла меня шахтёром. Должно быть, сравнивая с нашим отцом, когда-то работавшим в угольном забое.

Во дворе у нас постоянно околачивались блошистый Тузик, кудрявый, как наша Зинка, и короткошёрстая кривоножка Мальва. А самыми беспокойными обитателями двора были куры с петухом и две или три утки. «Чтобы вы издохли!» – желала бабка в сердцах своим пернатым. Были они на удивление бестолковыми: неслись где попало. Мы, ребятишки, знали где. И в отсутствие бабки находили яйца: белые и жёлтые – куриные, крупные голубоватые –

утиные. Нравились нам и те, и другие. Закинув голову, мы выпивали содержимое из скорлупки, как из стаканчика. Бабка, обнаружив брошенную яичную скорлупу, желала издохнуть нам, явным любителям сырых яиц. Тузик с Мальвой оставались вне подозрений: они съедали яйца вместе со скорлупой.

Бабка Акулина Максимовна не отличалась щедростью. Не потому ли её «грабили» не только дети, но, случалось, и взрослые. Вот, нарядившись в выходные кофту с юбкой и повязав новый платочек, бабка отправляется в гости к своей племяннице Ираиде. Назад возвращалась хмурой. «Ну, как вас встретила Ираида?» – интересовался кто-то. «Как же не встретить! Встретила, – поджимала губы бабка, – пирожками с курагой угостила... Курагу-то у меня на горыще (чердаке) стибрила...»

О-ох!.. дорожку за курагой на чердак (по приставной лестнице) знала не только Ираида... Но больше мне запомнился бабкин фруктовый сад. Детям ходить сюда было заказано. Калитка в этот земной рай распахивалась перед нами, когда требовалось собрать с кустарника созревшую смородину, чёрную, как дёготь. До этой ли канительной ягоды взрослым, если того и гляди перезреет вишня и уже прогибаются ветки под тяжестью спелых абрикосов!

С двумя вёдрами, полными свежих вишен или абрикосов, бабка отправлялась на привокзальный базарчик. Выручала пачку денег, обесцененных в годы войны, и прятала дома в шкаф. Ключ от него она хранила в кармане своей расклешённой сатиновой юбки длиной до пят. Для чего копила деньги, и сама навряд ли знала.

Как-то раз она забыла ключ в дверце шкафа. Трое вездесущих – я, мой пятилетний братишка и его ровесник Димка – не обратили бы на это внимания, если бы не Зинка. Мы застали её у раскрытого шкафа с деньгами в руке. «Украла», – уличил Димка. «Не украла, а взяла полюбоваться», – усмехнулась нахалка.

Зинка подружилась с нами. Помню, она трясла ветки, и оранжевый град спелых абрикосов сыпался к нашим ногам. Как только бдительная Акулина отлучалась куда-нибудь, мы всей компанией совершали вылазку в сад. Бабка, застав нас на месте преступления, без разбору хлестала хворостиной, выдыхая: «Получите, окаянные!..» Однажды хворостина расцарапала мне надбровье, и моя долготерпеливая мама так возмутилась, что пригрозила старухе: «Вот, погодите, вернётся муж...» Нашего отца, фронтовика, бабка уважала. Даже собиралась написать ему письмо вместе со мной.

А отец делился с мамой своим беспокойством: ***«Хочу обратить твоё внимание на ребят. Правда, я совершенно не знаю, какие они, как ведут себя. Но посмотрел я в одном месте на подобных человечков и решил об этом тебе написать. Некоторое время назад мне с моими товарищами довелось стоять восемь суток в районном селе Мантурово. Семья, в доме которой мы находились, состояла из жены бывшего председателя колхоза (он на фронте), её матери и троих детей: девочке 9 лет, мальчику 7 и младшей девочке 4 года. Девочки неплохие обе. А вот с мальчиком беда: он несколько раз воровал кое-что у нас, ворует у соседей. Наплевать бы, что воровал у нас, но мне очень больно было это наблюдать, когда я допускал мысль, что такое поведение возможно и со стороны наших ребят. Если паче чаяния подобное случится с ними, наказывай посильнее, чтобы в другой раз неповадно было. А то учти, жалостью недолго и погубить любого из них».***

Ох, отец, как угодило бы Акулине Максимовне твоё наставление! Конечно, ты не желал этогого, ты был едва знаком с нею. А твоих писем она не читала. Мама лишь передавала твой привет, который ты обычно посылал ей, называя мамашей. Но, думаю, ты смягчил бы свою строгость, если бы увидел нас, полуголодных оборвышей, забирающихся в сад и обмирающих от опасения снова получить розгу. Мы не любили

Акулину, а лишь боялись её. И она не погибала от любви к нам. Не её ли скаредность приводила к нашим вылазкам в сад!

На Кубани в годы войны людей спасали от голода сады и огороды, хотя и оскудевшие от неухоженности. Недалеко от Кропоткина находилось большое брошенное поле с неубранным картофелем. Немцы только-только заняли город, и на поле устремились женщины с лопатами и мешками в надежде запастись картошкой на зиму. Мама и я с нею – тоже. Мы, увлёкшись картошкой, не сразу увидели немцев, подъехавших на мотоциклах. И в их компании полицейского. Он встал перед нами и от имени новой власти приказал высыпать набранную картошку в одну кучу, а в другую – положить мешки и лопаты. Женщины нехотя исполняли приказание. Полицейский велел шевелиться быстрее и для убедительности протянул руку к автомату за спиной. Я очень испугалась и стала просить полицейского не убивать меня и маму. Моя наивность вызвала в его взгляде снисходительную усмешку.

***

Настоящий, еле переносимый голод, наступил в послевоенные дни, когда мы вернулись в Феодосию. Еда на весь день – триста граммов хлеба по карточкам. Обычно съедали его сразу, а потом – мучительное ожидание следующего дня. Цены на базаре были несоизмеримо высокими по сравнению с маминой и тёти-Олиной зарплатами (дядя Тиша умер от туберкулёза). Невелика была и пенсия за погибшего на фронте нашего отца. Мои двоюродные сёстры Валя и Ляля мечтали о хорошей жизни: будем каждый день есть кашу! Уже не хватало сил выдерживать голод. Но, к счастью, была проведена денежная реформа и отменены хлебные карточки. Каша из мечты превратилась в реальность, и я чуть-чуть окрепла. Видимо, до этого я умудрялась выделяться худобой даже среди

детей безотцовского послевоенного времени. Наша классная руководительница как-то заметила: «Наконец-то Эмма немножко поправилась!» В такие тяжкие дни мы с братишкой учились в школе. И в мыслях не было не ходить на уроки.

В одном из писем, отосланном, вероятно, после особенно кровопролитного сражения, в котором чудом уцелел, отец не выдержал и до слёз расстроил маму: ***«Если меня убьют на войне, ты, моя маленькая, мужественная, найдёшь в себе силы и поставишь на ноги наших детей...»***

Отец! Ты не зря не сомневался ни в маме, ни в Советской власти. Сбылась твоя мечта о высшем образовании, пускай полученном не тобой самим, а твоими детьми. Бесплатно. Со стипендией. С проживанием в благоустроенном студенческом общежитии. И когда твой сын, уже ставший инженером, защитил кандидатскую диссертацию, а дочка издала новый сборник своих стихотворений, мама вздохнула: «Если бы выжил наш отец, порадовался бы...»

***

Из глубины прожитой жизни воспоминания всплывают, не соблюдая хронологической последовательности событий. Снова вспоминается Кропоткин. Рядом с разбитной Акулиной видится безответная, несмотря на крупное сложение, Агафья. У неё была грыжа, а двоюродная сестрица, хозяйка дома, сказала, как приказала: «Экая невидаль!.. Ты живот подвяжи потуже...» Агафья так и поступила и притащила на себе с поля мешок кукурузных початков. Мама, и сама поднимавшая тяжести не по силам, пожалела Агафью: «У неё может произойти ущемление грыжи...»

Я не знала, что такое грыжа. Зато куда как представляла, что такое – ущемление. Как-то раз я прищемила пальцы створкой окна и вскрикнула – было так больно! Я дула на пальцы, опускала в холодную воду, но боль долго не унималась. И, видя, как Агафья поднимает что-нибудь тяжёлое, я боялась, что она вот-вот вскрикнет от боли.

Эта безответная пожилая женщина, у которой сын пропал без вести на фронте, а невестка погибла во время бомбёжки, не только решила крестить своего внучонка Димку, но и маму убедила окрестить меня с братишкой для спасения в несусветной жизни. Агафья не была усердной богомолкой. Не посещала церкви в обязательном порядке, как Акулина. У бабки Акулины Бог и земная жизнь были чётко разграничены. Из церкви она возвращалась утихомиренной. Крестилась перед иконой в углу. Поворачивалась и – через минуту-другую раздавалось привычное Акулинино «чтоб вы издохли...» Агафья же была доброжелательной, особенно к детям.

Наше крещение совершилось перед окончанием войны, уже после гибели отца на фронте. Церковка запомнилась золотистым мерцанием свечей перед иконами. Запомнилось внимательное лицо священника, когда, наклоняясь, он спрашивал имя у каждого из нас. Димка остался, как и был, Дмитрием. Мой братишка, названный по желанию отца Леопольдом, был наречён Леонидом. Спросив моё имя, священник помедлил, вероятно, выбирая близкое по звучанию православное. А когда его произнёс, сильно меня озадачил. Мне ещё не приходилось слышать такого имени. Домой я вернулась возбуждённой, сообщая: «А меня назвали!.. А меня назвали!..» А назвали меня Евфимией. Имя, данное мне при крещении, как и моему братишке, быстро забыли. Мы по-прежнему оставались для всех Эммой и Лёкой (Леопольдом).

В те времена, когда мы с братом появились на свет, было модно давать детям иностранные имена. Но теперь

шла война с Германией. Отец в одном из писем советовался с мамой по поводу моего имени: ***«Не изменить ли его? Ведь это имя мы дали случайно из-за Эммы Германовны. Я очень не хотел бы произносить его по отношению к самой любимой. Её «законное» имя Жозефина...»*** Надо же! С чего бы это моему прямодушному отцу нравилось такое жеманное имечко?!

Приятельница моих родителей – Эмма Германовна – была волжской немкой. Я стала её тёзкой. Меня именуют Эммой. А величают – Васильевной. Я настолько привыкла к этому сочетанию, словно зовут меня Анастасией, как мою маму, или Ольгой, как мою любимую тётку.

***

Отец писал такие искренние и конкретные письма, что они и сейчас отзываются во мне радостью и болью. Он рассказывал: ***«Было особенно приподнятое настроение, когда перешли Дон и двинулись на территорию, которая ещё вчера находилась в руках немцев. Хотелось увидеть живых людей, перенёсших оккупацию. Но в первом селе не осталось ни одного человека, а жильё – в большинстве – было без окон и дверей. Только отдельные избы, те, в которых размещались штабные учреждения фашистов, остались непорушенными. В одной избе мы обнаружили четыре изуродованных трупа наших бойцов. Очевидно, наши разведчики попали в плен к этим зверям... Я учу своих младших командиров и бойцов: если хочешь остаться живым, побольше убивай фашистских захватчиков – мёртвые, они безопасны».***

Иногда целые фразы, но чаще – лишь некоторые слова в письмах отца были зачёркнуты военной цензурой. Не знаю, что содержалось в них недозволенного по военному времени, но, случалось, цензоры явно перестраховывались.

Только со второго раза мы с мамой узнали, на каком фронте воюет наш отец. Он пишет маме: ***«Если ты читаешь газеты, то знаешь о боевых делах на 1-м Украинском фронте – я нахожусь на этом фронте»***. Цензура, почему-то, вымарала название «1-й Украинский». В письме, отосланном спустя несколько дней, отец, будто предвидя это, повторил уже сообщённое нам. На этот раз «1-й Украинский» уцелел. Но ещё старательнее в одном из писем был «засекречен» Трубеж, левый приток Днепра. Незачёркнутым, к счастью, остался расположенный здесь Переяслав, или Переяслав-Хмельницкий, как вскоре стал называться этот древний украинский городок. Мы с мамой нашли на карте и его, и реку, на которой он находится.

В нынешние времена это письмо, казалось бы, более чем полувековой давности особенно бередит душу. Вот строки из него: ***«Наше наступление продолжается... Позавчера пил воду и умывался в Трубеже*** (название зачёркнуто военной цензурой). ***На этой реке расположен Переяслав, небольшой городок – не больше Кропоткина,*** – для наглядности сравнивает отец. – ***А известен на Руси – даже представить трудно – с начала X века! Когда-то здесь были построены два монастыря, которые соединялись между собой подземным ходом. Позднее он затерялся под землёй, и уже никто не знал, где он проходит. Так вот, современные варвары добрались даже до этого древнейшего сооружения. Немцы оставили Переяслав, подпалив все мало-мальски приметные здания. А на другой день немецкие самолёты сбросили на беззащитный городок сотни бомб. Одна из них угодила в дорогу, под которой затерялся подземный ход, и таким чудовищным образом он обнаружился»***.

Отец! Ты говоришь, «современные варвары» подпалили в Переяславе все мало-мальски приметные здания. Сбросили на беззащитный городок сотни бомб... Отец! Они ведь беспощадно бомбили и сжигали саму историю древне-

го Переяслава. Пытались сотворить невозможное: вычеркнуть из неё 1654 год, словно его и не было никогда. Словно в этом году на Переяславской раде и при её одобрении Богдан Хмельницкий не провозгласил воссоединение Украины с Россией, что обоюдно усилило их. А разве это на руку агрессорам!..

В 1959 году я, после окончания Московского историко-архивного института, приехала на постоянное жительство в Ярославль, древнейший областной город. Окружённый древнерусскими районными городами. Один из них – Переславль-Залесский – с его старинными церквями, монастырскими ансамблями. Со знаменитым Плещеевым озером, на котором в XVII веке Пётр I построил свою учебную флотилию. Обо всём этом я подробно разузнавала, бывая здесь. А поначалу моё внимание Переславль-Залесский привлёк лишь своим названием. Мне вспомнилось, как в один из дней моего военного детства мы с мамой, получив с фронта письмо от отца, отыскивали на карте украинский город Переяслав. Я тогда, по малолетству, ещё ничего не знала ни о Переяславской раде, ни о Богдане Хмельницком. А теперь, проводя параллель между Переяславом и Переславлем-Залесским, я снова убеждаюсь, что эти древнейшие города – украинский и русский – не только перекликаются своими названиями. Но и по возрасту они, можно сказать, ровесники. Переяслав известен с 911 года, а Переславль-Залесский (до XV века – Переяславль) основан в 1152 году. Много ли значит разница в два с половиной века в их многовековой истории!

Отца волновала глубокая историчность Переяслава. А у меня есть стихи о Переславле-Залесском:

Рукой подать отсюда до Москвы –
Гудит, не замолкая, автострада.
Но в переулках – шелест листопада
И заросли желтеющей травы.

Здесь, в городочке, каждый поворот
От глаз скрывает древности картину.
Сверну за этот, первый, и – застыну
Перед резною красотой ворот.

Проникнусь настроеньем здешних мест,
Дивясь, что прежде здесь не побывала.
Пойду по верху крепостного вала
И, замирая, оглянусь окрест.

Осенняя торжественная грусть
И светлый лик озёрной этой глади...
Пойму, на красоту земную глядя:
Так вот откуда начиналась Русь!

***

В одном из отцовских писем мне встретились строки, спорные по нынешним временам. И всё-таки я решила их привести: ***«Мы на Украине. Что можно сказать о людях, которые два года пробыли в оккупации? Впечатление такое: широкие массы колхозников не верили, что немец победил окончательно. А когда в сёла возвращались кулаки, высланные ранее, и поселялись в бывших своих домах, то тех, кто там находился, не прогоняли – жили совместно. Причём та сволочь, которая при немцах была старостами, решала: «Живите покы вместе, бо война нэ кончена и чим кончится нэзнаемо».***

Прав ли отец в безоговорочном неприятии кулаков? Жизнь свою расшиб в борьбе за общественную справедливость. Земной мечтатель! Я-то о кулаках типичных, деревенских знаю лишь из книг. А суть кулака раскрыл ещё Н.В. Гоголь: «...думаю, ты всё был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход, и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье... грабил бы ты казну! Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь!» – сказано в «Мёртвых душах» в первой половине позапрошлого, XIX века. А так и хочется поставить слова Гоголя эпиграфом к нынешней бесконечной дискуссии о коррупции!.. Кулак же, по преимуществу деревенский, был, представляется мне, всего лишь скопидомом. А не лихоимцем, как любой представитель коррупции. Что касается отцовского письма, то о нём надо судить в связи со временем, когда оно было написано.

Война откатывалась всё дальне на запад. Отец пишет маме 3 марта 1944 года с 1-го Украинского фронта: ***«С нашим выходом к границам Румынии заправилы румынские будут стараться капитулировать, дабы избежать полного разгрома, так как в противном случае народные массы покончат не только с фашизмом, а, возможно, и с хозяевами фашистов – крупной буржуазией»***, – высказал своё мнение отец за месяц до гибели на фронте.

Пытаясь отсрочить гибель отца, я обращаюсь к более ранним его письмам. 24 августа 1943 года он пишет: ***«Немец отступил так поспешно, что не успел вывезти хлеб и поджечь дома, как намеревался. Здесь, где расположился наш батальон, много хлеба, овощей, фруктов, табаку. Моя мечта сбылась: я вдоволь ел арбузы, дыни, груши, а самое главное – борщ с перцем...»***

Перечитывая эти строки, я всегда радуюсь благополучным минутам в жизни отца. Даже в восторг прихожу: чудесный борщ! От одного душистого запаха и яркого цвета

повышается жизненный тонус, не говоря уже о бесподобном вкусе (тем более, после тюремной баланды!). Вспоминалось ли тебе, отец, как замечательно украинский борщ готовила мама?.. А отец пишет: ***«Бои идут без учёта времени и погоды. Фрицы стремятся во что бы то ни стало заставить нас отступать. Но тщетны их усилия! Им не захватить снова ни пяди нашей земли! Надеюсь, что уже скоро возвращусь к вам».***

Надежда на возвращение к нам крепнет от письма к письму. ***«Новый год предполагаю встречать с вами»***, – пишет отец 28 сентября 1943 года. А конца войне ещё не видно. Но отец продолжает надеяться на скорое её окончание. Уже в наступившем 1944 году он пишет 12 января: ***«Я уверен, что Первое мая отпразднуем вместе...»*** Неудержимо мечтал отец о возвращении к нам. В последнем сохранившемся письме, о котором я уже говорила, отосланном 3 марта в 1944 году, он советует маме: ***«Ты пишешь, что будешь сажать огород, что нет картошки. Так посади побольше кукурузы. Я рекомендовал бы тебе посеять ранние овощи, такие как морковь, огурцы – это быстро поступает на питание. Даже арбузы и дыни созревают раньше кукурузы. А к тому времени, когда она созреет, очевидно, буду уже с вами...»***

Выносить бесконечную разлуку помогали письма. ***«Шесть лет... это вечность! Я не могу представить себе нашу встречу»***, – сокрушается отец. Он читает и перечитывает мамины письма. Сравнивает их между собой. ***«Как улавливается твоё настроение***, – пишет он маме. – ***То ты спокойна, уравновешена. То нервная, неспокойная. А то настроение у тебя приподнятое. Вполне естественны колебания твоих настроений, как у любого человека в настоящее время. Тут и тяжесть разлуки, и пережитое время немецкой оккупации, и дети, и экономические трудности... Важно только, чтобы ты писала мне обо всём и побольше».***

Во время войны случалось, что письма не доходили до адресата. Отец волновался, если долго не получал от нас вестей. Между тем нам на Кубани уже не угрожали бомбёжки, тогда как он по-прежнему находился на передовой. ***«Пишу вам под вой и разрывы снарядов. Мои надежды получить от вас весточку снова не оправдались. Что случилось?»*** – спрашивает отец. И в следующем письме, отосланном через неделю, продолжает тревожиться: ***«Через мой блиндаж летят наши снаряды и снаряды противника. Вражеские – рвутся совсем рядом. Но и это не заглушает беспокойства о вас»***. Но вот гнетущая тревога сменяется чувством облегчения: ***«Сегодня получил от тебя коротенькое письмецо,*** – отвечает маме отец. – ***Какое большое оно для меня!»***

В одном из последних писем отец сообщает: ***«Я теперь...»***, – далее зачёркнуто военной цензурой. Мама разобрала лишь некоторые слова: ***«...адъютант... стрелкового батальона...»*** Но суть не в этом, а в неистребимой приверженности моего отца воинскому долгу и человеческому достоинству. ***«Не воображай, что должность штабиста избавляет от опасности боевых операций. Наоборот, это несколько опаснее, нежели когда я командовал миномётным расчётом»,*** – горячась отчитывает отец ни в чём не повинную маму. Но тут же спохватывается: ***«Моя любимая! «Жди меня, и я вернусь...» Ты так и не написала, получила ли ты это замечательное стихотворение, которое я посылал тебе?»***

Не знаю, почему мама, вдосталь настрадавшаяся одна с двумя детьми, не отозвалась на популярнейшее симоновское стихотворение. Может, боялась спугнуть маловероятное счастье? Но до последней минуты она самозабвенно ждала своего Василия.

Пожелтевший листок с заклинанием «Жди меня, и я вернусь...», переписанным рукою моего отца, сохранился до сих пор. А отец погиб на фронте.

Только два месяца спустя после его гибели мама получила известие, написанное незнакомым почерком:

«Уважаемая Анастасия Ивановна! Сегодня случайно пришлось встретить Ваше письмо на имя командира части, в котором Вы беспокоитесь о Вашем муже тов. Марченко. С большим сожалением должен сообщить Вам, что тов. Марченко, один из отважных офицеров, убит немецкими мерзавцами. Его бойцы мстят за него в повседневных боях с врагами.

Сильно не убивайтесь, обратитесь в военкомат. Вам будет оказана помощь, обижены не останетесь. Если Вас что-то интересует о тов. Марченко, пишите мне по адресу: полевая почта 14981. С уважением к Вам, товарищ Вашего мужа Антипов Пётр Васильевич».

Мама послала ему письмо, но ответа не дождалась. «Наверное, погиб, как наш отец», – поделилась со мной мама печальной догадкой.

Позднее мы получили официальное извещение:

«Адъютант старший стрелкового батальона – старший лейтенант Марченко Василий Семёнович пал смертью храбрых 3-го апреля в 1944 году при взятии села Нагораны Каменец-Подольской области. Похоронен в этом селе».

Глава VI

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

К концу дня в доме забеспокоились: что это Настя так долго не возвращается? Ушла с утра в военкомат узнать о назначении пенсии за погибшего на фронте нашего отца и – пропала. Мы с братишкой уже давно стояли за калиткой, ожидая маму. А когда она наконец появилась на углу улицы, мы не сразу узнали её, увидев какой-то белый свёрток, который она держала перед собой. А разглядев загипсованную руку на перевязи, перепугались: что случилось?

После известия о гибели нашего отца мама ни с кем не разговаривала, не плакала – не пролила ни слезинки. Оцепенела. «Как бы не рехнулась, – опасалась за неё бабка Акулина. – Не у неё одной мужа убили... Жёнки плачут, а дела свои делают...» Не понимала бабка, как долго, сверх меры военных лет, жила мама надеждой на возвращение нашего отца. Убили надежду – и не осталось сил жить дальше... Словно сомнамбула, ничего не замечая, переходила улицу, запруженную транспортом. И угодила под военный тягач.

– Что, тётка, жива? – заглянул под колёса выскочивший из кабины шофёр. – Вылазь!

Судьба пощадила маму. Может быть, ради нас, двоих её детей. Руку, хотя и правую, лишь задело колесом. Мама, оцепеневшая от горя, пришла в себя, как после грубой, но спасительной затрещины.

Жизнь требовала сил. Надо было засевать сотки нашего огорода. Навсегда запомнились твёрдая земля, которую мы с мамой разрыхляли цапками. Мало-помалу мамина искалеченная рука обрела почти полную подвижность – разработалась. Хотя побаливала потом всю жизнь, особенно в непогоду. Но тогда наши усилия оправдались. Уже в середине лета созрели ранние овощи: огурцы, кабачки, морковка – о чём в последнем письме хлопотал отец, заботясь о нас.

***

Ко времени нашей жизни в Кропоткине, уже после гибели отца, относится мамина переписка с одной замечательно отзывчивой женщиной. Звали её Мария Степановна Панчук. Она была жительницей села, где погиб и похоронен мой отец. «У селі Нагорянах», так названо оно в письме Марии.

Сохранились три её весточки на русско-украинском диалекте. В первом, совсем коротком, в полстранички, письме Мария уведомляет маму: *«Вашего мужа бойці похоронили у нашом садку»*. Во втором письме сообщает, что он перезахоронен. Покоится на братском кладбище: *«Коло него – 8 воених, а он 9-й рядом. Каждый у своей могилі»*. Третье письмо – последнее. Вот строки из него:

«Многоуважаемая Настасья Ивановна! Получила от Вас ответ, за который безгранично благодарю. Сегодня год, как убит Ваш муж. Мы на его могиле насадили много цветов. На ней поставлена ограда и памятник з большой звездой. И надпись зделана, кто он такой.

Мой брат зделал Вашему мужу труно. Я часто з могилой Вашего мужа встречаюся. Иду в поле и иду з поля – всегда встречаюся. Если желаете посмотреть на могилу Вашего мужа, приедьте, пожалуйста... Вы знаете, у каком селе лежит Ваш муж, а я не знаю, где мой брат. Я поехала

бы на могилу своего брата, но не знаю, где она...» (Брат Марии погиб на фронте в самом конце войны).

О себе Мария пишет: *«...пытаете, как моё здоровье. Так я больше хвора, чим здорова. Роблю у колхозі, живу одна...»*

Мама и Мария морально поддерживали друг друга. Но вскоре мы вернулись в Феодосию, и переписка оборвалась. Бытьё полностью обернулось борьбой за выживание. Не только сама Феодосия лежала в руинах – разрушились оставшиеся без жителей окрестные деревушки. Бывшие татарские виноградники и огороды заросли бурьяном. Опустевшие земли не сразу заселили переселенцами с Украины. Да и навыка возделывать крымскую землю у них поначалу не было. А в море, всё ещё напичканное минами, было опасно выходить рыбачьим фелюгам.

Мама устроилась кастеляншей в военно-морской госпиталь. Однако, прежде чем получить допуск сюда, прошла доскональную проверку. И не обошлось без зацепки:

– Ваш муж в 1937 году был осуждён по статье...

– Мой муж погиб на фронте, – обомлев, возразила мама.

Утешает, что отец уже не узнал об этом инциденте. В письме, отосланном незадолго до гибели, он ведёт с мамой такой разговор: ***«Интересно, что я представляюсь тебе в синем штатском костюме, похожем на мой давнишний. Но после войны меня, возможно, оставят в армии, и придётся тебе привыкать видеть меня в гимнастёрке и галифе. А жить будем там, где будет стоять моя часть».***

Трудно теперь угадать, как сложилась бы отцовская судьба, если бы он уцелел на фронте...

Жизнь улучшалась очень медленно. А когда хлеба стали есть досыта, мама задумалась о поездке на могилу нашего отца. Но если денег на хлеб теперь хватало, то о дальней поездке можно было только мечтать.

Позднее, когда я уже училась в институте, в Москве, мама в одном из писем делилась со мной: *«Выйду на пенсию –*

обязательно съезжу к Василю на могилу. Об этой поездке я думала с самого момента, как получила извещение о его гибели. Но пока что обстоятельства не позволяли выполнить мой последний долг перед ним».

Мама вышла на пенсию и... уехала из Феодосии в Горький (Нижний Новгород). Здесь теперь жил мой брат со своей семьёй. Его жену, как и меня, звали Эммой. Такое вот совпадение имён. По профессии она была инженером. У них в семье родились дети: сначала дочка Юля, а вскоре и сын Антон. Без бабушки стало не обойтись. Обычная история!

Поездка на заветную могилу вновь отодвинулась на неопределённое время.

***

Я не сразу поняла, как сильно мне повезло при распределении на работу после окончания института. Ярославль предназначался другой выпускнице нашего курса: коренной москвичке. Она колебалась: ехать ли? Потом, как видно, боясь потерять постоянную московскую прописку, отказалась от Ярославля. И этот город предложили мне. Наверное, судьба торопила меня: скорей соглашайся! А то москвичка может передумать и пойти на попятную. Очевидно, это был знак судьбы!

Моя первая встреча с Волгой вспоминается, как сновидение. Было начало осени. С Волжской набережной противоположный берег нечётко различался сквозь лёгкую дым-

ку. Тогда, полвека назад, автомобильный мост ещё не был перекинут через Волгу. На левый берег можно было попасть только на паромном судёнышке. Такая непосредственность бытия в большом областном городе и всего в четырёх часах езды от Москвы, могла очаровать или, наоборот, разочаровать. Меня, проведшую у воды начало жизни, это очаровало. Хотя поначалу Волга не показалась мне полноводной, словно море. Лишь спустя какой-то срок, особенно в годы моей работы корреспондентом многотиражки нефтеналивного флота «Советский танкер», мне открылась необъятность волжских просторов. На танкерах и нефтерудовозах я бывала в рейсах на Верхней Волге с её притоками. А севернее – на реках и озёрах всего Волго-Балта, вплоть до Балтийского моря.

Но сперва я была «заточена в монастырских стенах». Нет, не пострижена в монахини. Работала научным сотрудником в областном архиве. Но – издержки времени – архив находился в помещении Казанского собора. А сам собор – на территории бывшего женского монастыря. Когда я начинала работать здесь, от монастырских каменных келий и старинной ограды осталось немногое. Но грандиозный собор сохранил и парадность, и строгость форм, присущих архитектуре позднего классицизма. Но сохранил лишь внешне. Ибо за папертью тяжёлая дверь отворялась во внутренность собора, смертельно искалеченную. Устремлённую ввысь воздушность погубили, разделив её на три этажа дощатыми

полами-настилами. И по всему пространству – рядами стеллажи, уставленные связками архивных материалов.

Если бы документы прошлого умели говорить вслух, они бы возопили, что погибают от теснотищи, прямо-таки коммунальной. Но бумажные души страдали молча. А сотрудники архива ничем не могли им помочь, даже усердным профессиональным трудом.

Я проработала в областном архиве десять лет. Позже, уже без меня, архив наконец-то получил подходящее для него помещение. А через какое-то время был отреставрирован и Казанский собор.

Я всё чаще задумываюсь: возможно ли возрождение прежней многовековой веры во Всевышнего? Не знаю. Совсем недавно я вновь поднялась по ступенькам паперти и вошла в храм. Утреннее богослужение уже закончилось. Лишь несколько богомолок в тёмной одежде меняли свечи перед ликами святых. Вот одна из них зажгла свечку и поставила её на место прежней, сильно оплывшей. Перекрестилась перед этим. И мне вдруг подумалось, что я ни разу в жизни не перекрестила лба. И если бы сейчас собралась исполнить это, у меня, наверное бы, ничего не получилось: рука словно отяжелела. Но атмосфера храма была животворна, дышалось легко.

В годы моей работы в архиве не думали о том, что вокруг стены бывшего православного храма. Трудились мы, как во всех учреждениях: с девяти утра до шести вечера с перерывом на один обеденный час. К концу недели не без вожделения ожидали выходного дня. Изредка после работы проводились собрания. Профсоюзные, на которые приходилось оставаться. И партийные, которые меня не касались: как большинство женщин, в партии я не состояла. Не в силу каких-то политических убеждений, просто не приходило в голову вступить в партию. Да и никто в неё не приглашал меня, сочинительницу лирических стихов.

Но не только собрания сближали наш коллектив, но и совместные встречи праздничных дней. Собирались мы

накануне Нового года, Первого мая, дня Великой Октябрьской революции. Особенно весело отмечали Восьмое марта. Происходило это следующим образом: сначала кто-либо из наших начальников поздравлял нас, женщин, с наступающим праздником. Потом на сдвинутых столах выставляли угощения: коробки с тортами, конфетами, несколько бутылок лёгкого вина. А потом включали музыку и танцевали. Скажете – кощунство! Танцы в стенах храма! Не думаю. Кощунство совершается осознанно, оно надругательство над чем-то. А мы просто от души радовались праздникам нашего времени.

Но, пожалуй, больше праздников, отмечавшихся у нас в архиве, запомнилось 16 июня 1963 года, когда по радио сообщили, что в Советском Союзе на орбиту выведен космический корабль «Восток-6», и пилотирует его Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт. Нас охватило ликование. Мы повскакивали со своих рабочих мест. Выбежали на паперть и смотрели ввысь, в голубое летнее небо, как будто там можно было разглядеть космический корабль «Восток-6». С восхищением, с гордостью повторяли: «Наша!.. Ярославская!.. Наша Валя!..»

На другой день ярославские журналисты пришли к нам в архив с письмами Валентины Терешковой, написанными матери незадолго до полёта в космос. Письма были принесены на короткий срок для микрофотокопирования. Каково же было моё удивление, когда по обратному адресу на конвертах я узнала, что отправлены они из Феодосии. Выяснилось, что парашютную подготовку Терешкова проходила рядом с городом моего детства. Я поделилась взволновавшим меня открытием с коллегой за соседним столом. В ответ услышала ревнивое: «Всё равно она наша, ярославская!..»

А в это время вся планета прославляла подвиг «русской Чайки».

Меня до сих пор удивляет, почему её имя не присвоено ни одной из феодосийских улиц? Может, не знают, что имя

первой в мире женщины-космонавта связано с Феодосией? Правда, в последний раз я приезжала в Феодосию двадцать лет назад. Может, там уже появилась улица Валентины Терешковой?

В Ярославле такая улица есть.

***

Я всё больше привязывалась к Ярославлю. Порою почти неосознанно наслаждалась гармоничностью, с которой его старинный облик сочетался с задумчивой красотой верхневолжской природы. Мне полюбилась белоснежная ярославская зима. Ведь до приезда в Ярославль настоящего снега я не видела. В Крыму его сроду не бывало. А в Москве уже тогда он был вытоптан всё разрастающейся цивилизацией. А теперь, вечером, после работы, я выходила в зимнюю сказку Ярославля. И не могла сдержать своего восхищения.

– Ах, вы только взгляните, какая красотища! – говорила я своим попутчицам, коренным ярославским жительницам.

– Конечно, очень красиво, – снисходительно соглашались они.

Но вот у меня появилась заманчивая возможность вернуться в Москву. А это значило – навсегда покинуть Ярославль. Меня, конечно, манила Москва, но было до слёз жаль расстаться с Ярославлем, красивейшим, по моему мнению, городом России. Мысленно прощаясь с полюбившимся го-

родом, я колебалась – уезжать ли? Под наплывом противоречивых чувств написала стихотворение «Ярославль в снегу». И – навсегда осталась в Ярославле.

Когда в 1964 году в Верхне-Волжском издательстве вышел мой первый сборник «Влюблённость», в него было включено и это стихотворение. А позднее, в марте 1980 года, оно было опубликовано в журнале «Новый мир».

Ярославль в снегу

Я светлый образ в сердце берегу:
У зимней Волги Ярославль в снегу.
Над Волгою крутые берега
Смягчились, облачённые в снега.
А городские площади белы,
Как для гостей накрытые столы.
Во всех трамваях окна изо льда.
Белы деревья, крыши, провода.
И лишь красна морозная заря,
Как праздничный листок календаря.

В Ярославле сложилась моя литературная судьба. Я всё больше и больше писала стихов. Поэтому здесь я хочу сделать небольшое лирическое отступление и привести некоторые из них:

Встреча с красотой

Снег на площади на широкой
И вечерняя тишина.
Сказка – церковь Ильи Пророка
Снизу доверху освещена.

Летом здесь пестро от туристов,
А сейчас и следы – в стороне.
Купола и покров искристый
Предоставлены только мне.

Что ж стоять? Ведь и завтра вечером
Будет так же вокруг светло:
В камне долгое увековечено,
Мимолётное – снегом легло.

Камень, стало быть, не растает,
Да и снег – среди зимнего дня.
Красота же с извечной тайной
Снизойдёт ли опять до меня?

***

Разгадана, развенчана она.
Голубоватый свет её – не тайна.
Теперь никто не скажет: «Ах, луна!»
Ведь это было б сверхсентиментально.

Но Млечный Путь, как снежная метель,
Глядит в окно, холодный и нетленный.
Но луч звезды упал в мою постель,
И нет мечте предела, как – Вселенной.

***

Если правда, что на расстоянье
Мысль передаётся иногда,
На тебя прольёт своё сиянье,
Сна лишая, поздняя звезда.

Ты протянешь к книжной полке руку
И вздохнёшь тревожно: нет, не то...
И начнёшь звонить зачем-то другу,
И накинешь на плечи пальто.

Будет сердца стук, как гул набата.
Тень твоя метнётся на стене.
Ты пойдёшь по спящему Арбату,
Как по заколдованной стране.

Под холодным взглядом манекенов,
Под огнём изменчивых реклам...
Словно встречи ожидая с кем-то,
Будешь ты смотреть по сторонам.

Но пока ты глаз моих не вспомнишь,
Голоса не вспомнишь моего,
Не зови ты никого на помощь,
Не придёт она ни от кого.

Тонкий месяц выплывет к зениту,
Промелькнёт такси и – тишина...
Словно стрелка компаса к магниту,
Мысль моя к тебе устремлена.

***

И вот он грянул, ливень с высоты,
Как наше чувство, сильный и внезапный.
Взволнованно раскрылись все цветы
И источают небывалый запах.

Дождь отшумел, как лишние слова,
И где-то в тихих водостоках замер.
И только плачет мокрая листва,
Как мы с тобой, счастливыми слезами.

Пройдём мы по бульвару много раз,
Пока на небе звёзды не погаснут...
В душе звучит мудрейшая из фраз:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

***

Здесь различишь ещё мои следы,
Прикрытые узорчатою тенью.
Я для тебя придумала сады
С той синей, как у Врубеля, сиренью.

Раздвинулись тяжёлые дома.
Я прямо в гроздья распахнула двери.
И красоте поверила сама,
И ты со мной в сады мои поверил.

В них плещется озёрная вода
И птицы удивлённые ликуют...
Ты так всему поверил, что сюда
Привёл однажды женщину другую.

И помутнело зеркало воды,
И ты опять ступил на мостовую.
Я для тебя придумала сады,
Но без меня они не существуют.

***

За какие заслуги, не знаю,
Мне подарена нынче судьбой
Между сосен дорога лесная
С лунным светом,
С неспешной ходьбой.
С тишиною, звенящей и хрусткой,
И пустынностью в небе большом,
Где зачерпнуты синие сгустки
Покренившимся звёздным ковшом.
Мне подарены чёткие тени,
Хвойных веток пахучая мгла.
От тревог, от душевных смятений
Наконец-то уйти я смогла.
От бессонницы маяться мне бы,
Если б не был нечаянно дан
Путь с вершинами сосен до неба
И мерцанием снежных полян.
Снег несмятый
У самой дороги,
С синеватым отливом вдали...
Наполняются лёгкостью ноги,
Словно нет притяженья Земли.

Я часто выступала перед читателями со своими стихами. Несколько фотографий этих творческих встреч – к сожалению, не очень хорошего качества, у меня сохранилось.

Рождественнский сельский Дом культуры. Мышкинский район Ярославской области. Ноябрь 1971 г.

Дом книги. Ярославль, 1984 г.

***

Моя очарованность Ярославским краем углублялась с годами. Часто вместе с моим мужем Игорем я хаживала лесными тропинками в заволжскую деревеньку Корцово. Здесь жила его бабушка Евдокия Васильевна Антропова.

Она растрогала меня душевным обращением: Эмма-матушка. Таким русским, деревенским. А деревенька Корцово словно явилась из русской народной сказки. У меня о ней сами собой сложились стихи:

Сказка

Взяли в плен косматые деревья
Маленькую волжскую деревню.
На опушке тихий бабкин дом,
Срубленный из брёвен топором.
Что в лесу он видел?
Что он слышал?
Пчёлы у него жужжат под крышей.
Петухи резные стали старыми...
Мы приёмник в горнице поставили.
Даже лес
Шумит теперь по-новому,
Музыкой Чайковского взволнованный...
Выхожу из дома на крыльцо,
Дышит мне черёмуха в лицо.
Я стою,
Гляжу в лесную чащу:
Может быть, на озере блестящем,
На волшебном, скрытом от людей,
Я увижу стаю лебедей?

Когда в ветреную погоду я слушала, как шумит лес, мне вспоминалось штормящее море. Закрою глаза – и представляются вздымающиеся морские волны с их нескончаемым шумом. А здешняя лесная тропинка перед тем, как привести в бабушкину деревню, впадала, словно речка в морской залив, в льняное поле, голубое в пору цветения льна. Грустно вспоминать о том, что было и уже никогда не повторит-

ся. Бабушка давно умерла, а от её деревеньки осталось три или четыре избы, в которых летом проживают дачники. А льняного поля – как не бывало. Заросло бурьяном.

Я отнюдь не идеализирую прошлое. Особенно деревенское житьё-бытьё. Помню, по какой бездорожной хляби порой добирались мы в бабушкину деревню. Тропинки, крепкие летом, раскисали в дождливую осень. Выпростаешь ногу, а резиновый сапог в грязи остаётся. Приходилось идти в обход, выбирая места посуше. Путь удлинялся намного.

Но, очевидно, проблемы деревенской жизни связаны у нас не только с бездорожьем. В бабушкину глухомань давно проложили какое-никакое шоссе. А деревеньки в округе, если ещё не исчезли полностью, всё равно продолжают исчезать.

И уже не верится, что когда-то в одной из них жила бабушка вместе со своей младшей дочерью Лизаветой. Обе сухонькие, на головах платочки. Сразу не разберёшь, которая по возрасту старше. Главенствовала бабушка, а Лизавета без колебаний подчинялась своей мудрой и сильной характером матери. А какие это были труженицы! То огородом занимались, то у печи хлопотали. Не говорю уже о заботах о корове, которую (в их-то преклонном возрасте!) держали. Однако несмотря на повседневные хлопоты, особых доходов от хозяйства не имели. На ближайший, но всё же не близкий базарчик лишь изредка выбирались с творогом и сметаной. А чаще потчевали этим кушаньем своих городских родственников. Невеликих, а всё же помощников в де-

лах деревенских: и дров на зиму заготовить помогут, и сена для коровы накосить.

А парным молочком, налитым в плошку, лакомились две серенькие кошки. Впрочем, кошки были по-деревенски самостоятельны. Охотились за мышами в подполье. А как-то одна из них, к удовольствию Лизаветы, поймала у несушек в курятнике ласку.

Может, кому-то жизнь в деревне представляется мелочной и скучной. Но от меня она, наоборот, отводила обывательскую хандру, даже в хмурые осенние дни. Не говорю уже о светлом весеннем времени. О благотворном влиянии на человека расцветающей весенней природы лучше не скажешь, чем сказано великим Николаем Алексеевичем Некрасовым в его лирической поэме «Зелёный шум». Я не буду здесь цитировать отдельные строки, приводить отрывки из поэмы. К чему? Можно ли постигнуть в отрывках силу и глубину жизнеутверждающего чувства, выраженного в ней!

Её нужно читать всю полностью.

***

Нигде так свято не чтут память Н.А. Некрасова, как у нас в Ярославле. Пожалуй ещё, в некрасовских местах на Украине – в винницких и каменец-подольских.

Своим размахом традиционный некрасовский праздник поэзии у нас в Ярославле, в Карабихе, уступал в советское время разве что торжествам либо Первомайским, либо Октябрьским. К нам приезжали известные поэты и представители литературной общественности из Москвы, из Ленинграда, из самых разных мест необъятного Советского Союза. С Украины – обязательно.

Однажды на празднике в Карабихе я познакомилась с гостьей из Винницы. На русском языке, но с мягким украинским выговором, она рассказывала, словно задушевную

песню пела, о матери великого русского поэта Елене Андреевне Некрасовой (урождённой Закревской). Я и до этого знала, что Н.А. Некрасов родился на Украине. Но знала как-то формально, заученно, что ли. А тут городок Немиров в Винницкой области, где родился поэт, обрёл живой облик. В Винницкой – в настоящее время. А в далёком 1821 году, когда Н.А. Некрасов родился, этот городок (тогда село Немирово) входил в Каменец-Подольскую губернию. Это те самые места, где в 1944 году сражался и погиб мой отец.

***

В моих воспоминаниях многие события, казалось бы, не связаны по времени, однако неразделимы по сути. Былое, порою, представляется так живо, что сегодняшнее отступает перед ним, словно его не существует. Когда-то я часто ездила в Горький (Нижний Новгород) к своим родственникам. Там (я уже говорила об этом) жила мама с семьёй моего брата.

В один из моих приездов мама укорила меня (да и себя, пожалуй) и словно перехватила мои мысли: «Мы так и не побывали на могиле нашего отца...» И началось у нас с мамой уже не первое обсуждение будущей поездки.

- Я тоже поеду с вами... обязательно! – мой племянник Антон смотрел на меня умоляюще снизу вверх, с высоты своего семилетнего возраста.

К слову сказать, много лет спустя мы с Антоном поменялись ролями. Когда взрослый Антон сообщит мне о своём намерении посетить могилу деда

Василия, я глядя на племянника снизу вверх, попрошу: «Возьми меня с собой!»

А до этого, намного раньше, поездка на Украину произошла неожиданно для меня. Без мамы и Антона. По командировке нашей Ярославской писательской организации я отправилась в Черкассы на литературный праздник. Накануне поездки взглянула на карту Советского Союза: на юго-западе нашей огромной державы – Черкасская область. За ней – Винницкая, и тут же рядом (по тогдашним меркам) – Каменец-Подольская. Я планировала: побываю в Черкассах и оттуда отправлюсь в Долженский район Каменец-Подольской области. Уже на месте расспрошу, как добраться до села Нагоряны. Объясню, что там находятся воинское братское кладбище и могила моего отца.

***

Прежде мне не приходилось бывать на Днепре. О нём я лишь много читала.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підіима.

Так начинается поэма «Причинна» – о любви, о разлуке, о гибели. Создана она в 1837 году великим украинским поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко. А в 1943 году 28 октября мой отец писал с фронта: ***«Немцы покинули левобережную Украину. Громим их на правом берегу Днепра...»*** И вот теперь, спустя десятилетия, я направлялась в эти места. Когда поезд помчался по железнодорожному мосту через Днепр, многие пассажиры прильнули к окнам вагона. И, наверное, я была самой взволнованной среди них. К моему некоторому разочарованию, Днепр открылся моему взгляду совершенно спокойный, отражающий высокое синее небо.

На литературном празднике читали стихи на русском и украинском языках. Таких похожих, что я вполне понимала своих «иноязычных» коллег. Мы выступали во многих аудиториях Черкасской области: и в самих Черкассах, и в районных городках, и в неотличимых от них по размерам сёлах. Везде нас встречали солнечная погода, душевное внимание, аплодисменты. И букеты, букеты цветов.

Но вскоре впечатление безмятежности земного бытия было нарушено. Замолкла наша разноголосая группа, выступавшая со стихами. Мы пришли в музей писателя Юрия Крымова, автора широко известной повести «Танкер Дербент». Родился Крымов (Беклемишев) Юрий Соломонович в 1908 году в Петербурге, далеко от здешних мест. А с первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте. Погиб в бою 20 сентября в 1941 году, пробиваясь из кольца вражеского окружения. Произошло это возле села Богодуховка Черкасской области. И вот теперь молодая женщина-экскурсовод читала вслух письмо Юрия Крымова, написанное перед последним боем жене – так и не отосланное ей. Письмо случайно нашёл и сохранил здешний колхозник.

Меня тронула глубокая исповедальность письма. Юрий Крымов говорил о том, что в сложившейся обстановке его гибель и гибель его боевых товарищей неизбежна. Но все они и он сам верят в конечную победу над оккупантами. Письмо, как и фронтовые статьи Крымова, полны восхищения мужеством наших бойцов.

А повесть «Танкер Дербент» я прочитала совсем недавно. Когда в 1938 году она, впервые появившись в печати, получила широкую известность, мне было только шесть лет. И я, конечно, не могла оказаться среди читателей и почитателей таланта её автора. Позднее «Танкер Дербент», хотя и занял видное место в море книг, всё-таки прочно встал на якорь прошлого. В школе, в послевоенные годы, мы зачитывались «Молодой гвардией» А. Фадеева и «По-

вестью о настоящем человеке» Б. Полевого. Интерес к «Танкеру Дербенту» Ю. Крымова у меня возник лишь после посещения музея этого писателя. И отчасти был связан с тем, что я четыре года – с 1973-го по 1976-й – проработала корреспондентом в газете «Советский танкер». Я очень живо воспринимала всё, чему оказывалась очевидицей на танкерном флоте. А читая повесть Ю. Крымова, невольно соотносила происходящее в ней с уже известными мне обстоятельствами флотской действительности. Меня интересовали характеры героев «Танкера Дербент», их поступки в повседневных трудовых буднях и в исключительных ситуациях.

Опасен труд на танкерном флоте. Технические нарушения в подготовке судна к рейсу или во время него могут привести к беде. Юрий Крымов очень правдиво и зримо обрисовал трагическое положение моряков на танкере, охваченном пожаром. Однажды я сама попала в опасную ситуацию, хотя иного рода.

Я присутствовала как корреспондент на небольшом нефтевозе во время осеннего рейса на одном из северных притоков Волги. Осень уже заканчивалась, река начинала покрываться льдом. И наш танкер застрял во льду. Льдины шевелились, словно живые, окружая его. Чувствовалось тревожное, хотя и сдержанное настроение экипажа. Я сначала только наблюдала за происходящим. Но потом мне стало не по себе: льдины могли раздавить наше судёнышко, как спичечную коробку. Выручил нас из беды подошедший на помощь ледокол.

Повесть Юрия Крымова я прочитала с неослабевающим интересом. Думаю, если бы её автор не погиб на фронте, он написал бы талантливую книгу и о войне.

***

Более двух лет Украина находилась в немецко-фашистской оккупации. Освобождение потребовало бесчисленных жертв. В Каменец-Подольскую область, где оборвалась жизнь моего отца, я собиралась, не задерживаясь, отправиться после Черкасс. Но осуществить это оказалось сложнее, чем я предполагала. Ещё в Черкассах я начала расспрашивать, как добраться до села Нагоряны. Но никто не сообщил мне ничего конкретного. Такие сёла с братскими кладбищами разбросаны чуть ли не по всей Украине. А сколько погибших советских бойцов, даже преданных земле, осталось безо всяких памятников и оград! Где покоится их прах, знают только степные цветы и травы.

Возникла и другая, более прозаическая помеха для моей поездки: у меня оказалось с собой недостаточно денег. Пришлось возвращаться домой, так и не побывав на месте гибели отца. Я утешала себя мыслью, что в скором времени обязательно съезжу на его могилу. Не за границу же ехать! Ведь в родной земле покоится отец. Вовеки неделимой – казалось мне.

***

Я написала об отце несколько стихотворений. Вот одно из них:

Звезда

Тень отца витает надо мною,
А ведь столько лет с войны прошло!
Но могила с красною звездою –
Словно шлем, скрывающий чело.

Память, снова уподобясь чуду,
Возвращает мне его черты.
Так ракета, вспыхнув на минуту,
Вырывает степь из темноты.

Так она, вися над горизонтом,
Освещает дальнее село...
Помню всё, что написали с фронта
Об отце товарищи его.

Что Отчизну заслонил он грудью,
Что мечтал в то утро, до стрельбы,
Чтобы жизнь моя своею сутью
Повторила суть его судьбы.

Чтоб моих решений и свершений
Трусость не коснулась никогда...
С каждым годом для меня священней,
Памятней отцовская звезда.

Это стихотворение опубликовали в журнале «Огонёк» (№ 10, 1985), выходившем в то время огромным тиражом: полтора миллиона экземпляров. В номере было помещено много интереснейших ярких материалов. Моё стихотворение заняло лишь скромное место в общей поэтической подборке авторов из разных городов Советского Союза. И всё-таки было замечено читателями и получило благожелательные отзывы.

Жизнь моего отца оборвалась в бою вместе с мечтой о мирном времени. Поэтому свои воспоминания я завершаю горестными строчками из письма мамы. Она писала мне: ***«...снова видела во сне своего Василя, вашего отца. Он всегда зовёт меня. Наверное, когда умирал, думал о нас. Бедный он у нас, ему так хотелось вернуться домой...»***

2012

Нежданные стихи

2007 – 2012

БЕСПОКОЙСТВО

Невероятная – ещё бы! –
Встать выше неба норовит.
И вот возводит небоскрёбы,
Великолепные на вид.

Я, обожавшая когда-то
Её движенье и молву,
Уже не обращаю взгляда
На непостижную Москву.

О Ярославле беспокоюсь
Средь шума мчащихся машин:
– Не превращайся в мегаполис,
Будь просто городом большим!

Не подражай столице слепо!
Смиряй разумностью азарт,
Чтоб над собою видеть небо,
Совсем как тыщу лет назад.

БАЛКОНЧИКИ

На убогие балкончики
Вьюга дышит без помех –
Никогда зима не кончится,
Вечно будет падать снег.

Одевай, подруга, варежки,
Не завидуй никому,
Лишь счастливцам, проживающим
Где-то в солнечном Крыму.

В жизни мы не именинницы,
Не шикуем в пух и прах.
Не для нас с тобой гостиницы
На Канарских островах.

На убогие балкончики
Вьюга сыплет, сыплет снег.
Но стезя земная кончится
Неизбежно и у всех.

Не кляни ж дорогу здешнюю,
А угробишься на льду –
Устрашат ли душу грешную
Испытания в аду?..

Может, жизнь иначе кончится,
И не всё, что было – грех.
Но пока что на балкончики
Вьюга сыплет, сыплет снег.

***

Золотые окна
Зимних вечеров.
Снежные волокна
В сумерках дворов.

Звёзд не видно сколько
Затаила высь.
Под ногами скользко –
Ой, не поскользнись!

В шорохе охриплом
Слышится зима...
Медленно, со скрипом
Крутится Земля...

***

Где-то, от лесной дороги слева,
В тишине услышать лёгкий хруст.
Чтобы после духом не ослепнуть –
Зацепиться памятью за куст.

А когда сольются воедино
Быль и небыль, вспомнить через год
Синевы абстрактную картину,
Позабыв, что это небосвод.

***

Вся в белом кружеве соцветий,
Рябина, показалось мне,
Уже задумалась о лете,
Ещё вздыхая о весне.

Я удивилась: и когда же
Ты так чудесно расцвела?
А я не ощутила даже,
Что ночь была совсем тепла.

Жила, сердясь на всех на свете
В своём постылом кураже...
Но не приснились ли соцветья
Мне на четвёртом этаже?

Ты молода, а я старуха,
Ты хороша, а я – ой-ой...
Но у меня хватает духа
Быть очарованной тобой.

Когда же гроздья покраснеют,
Оборотясь осенним сном,
Пошлёт ли Бог взбодриться с нею,
С моей рябиной за окном?

***

Что ж опять я тоскую по Крыму,
По утраченной доле моей?
Я ведь знаю, что неповторима
Череда отступающих дней.

Ведь на Волге у нас так красиво –
В летней зелени, в зимнем снегу.
Что ж тоскую опять по заливу
С Феодосией на берегу?

По всему, что даровано в детстве
И вовек не убудет в душе...
Никуда мне от моря не деться,
Столько власти в его мираже.

Нестерпимо прощальное слово,
И отвратен вражды неуют.
Окольцованной птицей былого
Лишь в мечтах прилетаю на юг.

Так и кажется: в явь превратится
Черноморский мираж голубой.
Не одни ж перелётные птицы
Обладают завидной судьбой!

***

Весенние деревья –
Зелёною толпой,
Не знаю разделенья
Меж вами и собой.

Да как бы я узнала,
Что началась весна,
Когда бы не застала
Вас около окна.

Вчера всего лишь почки
Набухли на ветвях.
И вот уже листочки
Проклюнулись и – ах!

Ах, до чего ж отрадно
Взглянуть на вас весной!
Взгляну лишь – и не надо
Мне радости иной.

РАСПРАВА

Где на углу обычнейшего дома
Ещё хрущёвской рухнувшей эпохи
В июне расцветал высокий тополь,
Роняя пух, легчайший, словно вздохи,
Я здесь всегда сворачивала к дому,
К другому, к своему, но тут же рядом.
Приверженный пространству городскому,
Огромный тополь отмечала взглядом.
А на углу толпились и кричали,
Себе противоречили вначале:
– Какой здоровый!.. Вечно пух роняет...
Он у кого-то окна заслоняет!..
Торчит у дома, как в бутылке штопор...–
И вот спилили неугодный тополь.
И возвращаюсь я в свою квартиру,
Прекрасного лишась ориентира.
Я медлю здесь, где тополь цвёл когда-то,
Лишь затаённым вздохом виновата.

***

С годами меняются лица
Да так, что порой не узнать...
Мне видится снова столица,
Едва лишь начну вспоминать.

Москва не в кромешном угаре,
А та, где в студенческий срок
Я с кем-то размашистым в паре
Кружила в сиянье дорог.

А нынче я дома и дома,
Живу в областной стороне.
И жизнь продолжается долго,
И старость наскучила мне.

А ныне куда-то направлюсь –
И кругом идёт голова.
Спокой изменил Ярославлю,
Как будто бы это Москва.

Машина мелькнула, как пуля,
Несутся опять и опять...
Сидела бы дома, бабуля,
Чем жизнью своей рисковать!

***

Я до страсти любила грачей.
Не люблю, говорю, а – любила.
Срок пришёл, и во мраке ночей
Злая немочь на грудь наступила.

Оттого, что хвораю давно
И устала валяться в постели,
На рассвете взглянула в окно –
Поняла, что они улетели.

И такая нахлынула грусть
От осеннего опустошенья,
Что решила: уже не дождусь
Улетевших грачей возвращенья.

Но коснулось видение глаз –
Ни конца у него, ни начала:
Не сама ли я множество раз
Этих радостных птиц привечала!

Коль дожить до весны суждено,
Протянуть удивительно долго –
Их на ветках увижу в окно,
И – душа расцветёт от восторга.

***

В минувшее взгляд обращаю,
Бессильна, как птаха в горсти.
Невольно себя вопрошаю:
Как я уцелела в пути?

Как, стоя у края обрыва,
Не ведала вовсе о нём?
Как я уцелела счастливо?
Каким примечательным днём?

Казалось, живу и не трушу,
Не остерегаю себя.
И всё ж сберегла свою душу,
В соблазнах её не сгубя.

И радостей путались нити,
И горя царил произвол –
Наверно, мой Ангел-хранитель
От гибели явной отвёл.

СОН ОБЛОМОВА

От шума, от спешки, от жизни устав
И город ругнув не впервые,
На мягком диване витаю в мечтах
И вижу цветы луговые.

Белеют ромашки, а рядом репей
Зарделся, неистово яркий...
Глухая тропинка милей, хоть убей,
Аллеи в общественном парке.

Отсюда, где публики невпроворот,
Подальше уехать мечтаю.
И мнится: в деревню вернётся народ,
Как ласточек резвая стая.

Пускай охмурит вековой колорит:
Ни изб, ни околицы – пусто!
Но виды на кашки, ромашки хранит
Беспечности праздное чувство.

Сознанье ленивое лишь раскачай –
Заплещется синь незабудок.
О синих цветочках вздохну невзначай
И вновь на диване забудусь.

***

Ночь упала в обморок...
А на самом деле
Заалело облако,
Спавшее на дереве.

Зашептался с листьями
Ветерок рассветный,
Поделился мыслями
С встретившейся веткой.

Кряжистое дерево
Рядом за домами...
Отразилось зарево
В застеклённой раме.

Без игры рассвета
Всё на свете утло.
Но уже не это
Завтра будет утро.

Помнят о мгновениях,
Вечностью гонимых,
Лишь стихотворение,
Может, фотоснимок.

ОТРЫВОК

Был недавно красный стяг
В самой полной силе...
У безумия в гостях
Походя пропили.

И сегодня сразу три
Цвета над Россией:
Хоть глаза свои протри –
Белый, красный, синий.

– А какой же будет цвет
Завтра самым главным?
– Ты про то спроси, сосед,
У всезнайки Клавы.

ТУМАННАЯ КОМЕТА

Пока не слишком поздно,
Пока не ярки звёзды
И пятна фонарей,
Над крышами комета
Особенно заметна,
Особенно доступна
Вниманию людей.

Какой-то из прохожих,
На остальных похожий,
Глядел с открытым ртом.
Я и сама сначала
С восторгом различала
Туманную комету
С расплывчатым хвостом.

Но в сутолоке вечной
Отстала через вечер
От межпланетных тем.
Она ж меж тем исчезла,
И спорить бесполезно –
Зачем она являлась?
Наверно, ни зачем.

Её туманной маске
Нейдут земные краски
И чёткие штрихи...
Как ни давно всё было,
Её не разлюбила
И даже написала
Нежданные стихи.

Содержание

Величают меня Васильевной

(Воспоминания многих лет) 5

Глава I. Отчасти семейная предыстория 7
Глава II. Феодосийское детство 25
Глава III. Эвакуация в краснодарскую станицу .. 36
Глава IV. В оккупации в Кропоткине 46
Глава V. Фронтовые письма отца 52
Глава VI. После войны 72

Нежданные стихи (2007 – 2012)

Беспокойство 97
Балкончики 98
«Золотые окна...» 99
«Где-то от лесной дороги слева...» 99
«Вся в белом кружеве соцветий...» 100
«Что ж опять я тоскую по Крыму...» 101
«Весенние деревья...» 102
Расправа 103
«С годами меняются лица...» 104
«Я до страсти любила грачей...» 105
«В минувшее взгляд обращаю...» 106
Сон Обломова 107
«Ночь упала в обморок...» 108
Отрывок 109
Туманная комета 110

Литературно-художественное издание

Марченко Эмма Васильевна

ВОЗРАСТ
Воспоминания и стихи

Редактор
Михаил Китайнер

Дизайн и верстка
Григорий Михайлов

Корректор
Анна Калайтанова

Подписано в печать 10.11.2013.
Формат 60x84 1/16 Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура SchoolBookC. Усл.п.л.6,51 Уч.-изд. л. 6,12.
Тираж 500 экз. Заказ № 1314100.

Издательско-полиграфический комплекс «Индиго»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97

arvato ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97